Без судьбы

Автор:
Имре Кертес

Без судьбы

Имре Кертес

Холокост. Правдивая история

«Без судьбы» – исповедь венгерского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Имре Кертеса, который попал в концлагерь в возрасте 15 лет, смог пройти все ужасы заключения и остаться в живых.

Невзирая на трагедию, муки голода, потерю родных и близких, герой учится принимать свою судьбу и даже в жестоких и нечеловеческих условиях он пытается обрести надежду: «…я ощутил, как растет, как копится во мне готовность: я буду продолжать свою, не подлежащую продолжению, жизнь. …Нет в мире такого, чего бы мы не пережили как нечто совершенно естественное; и на пути моем, я знаю, меня подстерегает, словно какая-то неизбежная западня – счастье».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Имре Кертес

Без судьбы

© 1975 by Imre Kertesz

© Юрий Гусев, перевод, 2020

© Оформление, ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

1

В школу я сегодня не пошел. То есть пошел, но только чтобы отпроситься. Отец написал записку с просьбой освободить меня от занятий на весь день – «по семейным обстоятельствам». Классный наставник поинтересовался, что это за семейные обстоятельства. Я сказал: отца забирают в трудовые лагеря; больше классный наставник ко мне не цеплялся.

Из школы я отправился не домой, а в нашу лавку. Отец сказал, они с мачехой будут ждать меня там. И добавил, чтобы я поторопился: вдруг буду нужен зачем-нибудь. Собственно, он меня и от школы поэтому освободил. Или, может, для того, чтобы я «был рядом в последний день, когда он расстается с домом», – это он, правда, говорил раньше, еще утром, помню, когда звонил по телефону матери. Дело в том, что нынче – четверг, а по четвергам и по воскресеньям я полдня, после обеда, должен проводить у нее. Но отец решительно сказал ей: «Дюрку сегодня я не могу к тебе отпустить», – тогда он и произнес те слова. А может, и не тогда. Утром я ходил немного сонный, из-за воздушной тревоги, которая была ночью, и, не исключено, что-то путаю. Но в том, что он говорил это, я уверен. Если не матери, значит, кому-то другому.

Отец и мне трубку дал ненадолго; но что я сказал матери, не помню. Думаю, она даже обиделась на меня, потому что я не очень-то был с ней разговорчив – из-за того, что отец стоял рядом: в конце концов, сегодня мне ведь надо стараться ему угодить. Когда я уходил, мачеха тоже решила сказать мне несколько слов, в прихожей, без свидетелей. Она, видите ли, надеется, что в этот день, такой печальный для всех нас, «я буду вести себя надлежащим образом». Я не знал, что на это ответить, и промолчал. Но, кажется, мое молчание она восприняла как-то не так – и стала толковать что-то в том роде, что она вовсе не сыновние мои чувства имеет в виду, сказав про поведение: тут, она знает, советы излишни. Она ни капли не сомневается, что такой взрослый мальчик – все-таки мне как-никак пятнадцатый год – сам способен понять, какой тяжелый удар нас

постиг, – так она выразилась. Я кивнул. И увидел, что ей этого вполне достаточно. Руки ее потянулись было ко мне, и я уже испугался, что она собирается меня обнять. Но она не закончила движение, лишь глубоко-глубоко вздохнула, продолжительно, с дрожью. Я заметил, что глаза у нее слегка блестят от влаги. Мне стало неприятно. Потом я ушел.

От школы до лавки я добирался пешком. Утро было солнечное, совсем теплое для начала весны. Мне хотелось расстегнуть куртку, но я подумал: все-таки ветерок дует, хоть и несильный, еще откинет на сторону полу – и желтой звезды не станет видно, а это не по правилам. Нынче в некоторых вещах надо быть осмотрительным. Наш дровяной склад находится недалеко от дома, в переулке. Крутая лестница ведет вниз, в полумрак. Отца с мачехой я нашел в конторке – тесной клетушке с застекленной стеной, у подножья лестницы, с освещением, будто в аквариуме. С ними был господин Шютё; его я знаю еще с того времени, как он служил у нас счетоводом и занимался делами второго нашего склада, что под открытым небом; недавно тот склад он у нас купил. Так, по крайней мере, мы всем говорим. Дело в том, что у господина Шютё с чистотой крови все в порядке, желтую звезду ему носить не надо, и, как я понимаю, эта «покупка» – всего лишь коммерческая хитрость: теперь он отвечает за часть нашего состояния, ну а у нас пока сохраняется хотя бы доля доходов.

Правда, сейчас здороваюсь я с ним все же не совсем так, как раньше: ведь что там ни говори, а в каком-то смысле он теперь выше нас; отец с мачехой тоже стали с ним обходительнее. Он же упорно называет отца «хозяин», а мачеху – «милостивая сударыня», словно ничего не произошло, и не упускает случая поцеловать ей ручку. Со мной он тоже разговаривает в прежнем, шутливом тоне. Мою желтую звезду он вообще вроде не замечает. Я встал у двери и зажмурился на минутку: в глазах еще плавали круги от яркого солнечного света; взрослые продолжали прерванный моим приходом разговор. Кажется, они обсуждали что-то важное. Сначала я вообще не понимал, о чем идет речь. Отец, кажется, убеждал в чем-то господина Шютё; как раз когда я открыл глаза, тот ему отвечал. На смуглом, круглом лице бывшего нашего счетовода, с тонкими усиками и широкой щелью между двумя передними зубами, бегали желтовато-красные, словно созревшие чирьи, солнечные зайчики. Следующую фразу снова произнес отец: речь шла о каком-то «товаре»: лучше всего, если господин Шютё «сразу заберет его с собой». У господина Шютё возражений в общем не было, и тогда отец достал из ящика стола плоский бумажный сверточек, аккуратно перевязанный шнурком. Тут только я догадался, о каком «товаре» идет речь: в бумагу завернута была шкатулка, в которой лежали наши драгоценности и все такое. Думаю, «товаром» они это называли из-за меня, чтобы я не догадался.

Господин Шютё тут же положил сверток себе в портфель. Но потом у них произошел небольшой спор: господин Шютё вынул было свою авторучку, чтобы написать «расписку» – в том, что он взял «товар» на хранение. Он долго на этом настаивал, а отец только отмахивался, мол, «не валяйте дурака», полно, «мы же свои люди». Как я заметил, господину Шютё слышать это было очень приятно. Он даже сказал: «Я знаю, хозяин, вы мне доверяете, но в практической жизни для всего есть свой порядок, все должно идти как заведено». Он даже к мачехе моей обратился за поддержкой: «Не так ли, милостивая сударыня?» Но та лишь улыбнулась устало и ответила ему, ах, мол, такие вопросы пускай мужчины решают сами.

Мне это стало уже немного надоедать, когда счетовод наконец убрал свою авторучку; но потом они принялись во всех подробностях обсуждать, как быть с этим складом, куда девать сложенное тут огромное количество теса. Я услышал, как отец сказал, что, мол, стоит поторопиться, а то власти спохватятся «и, не успеешь моргнуть, приберут процветающее дело к рукам», – и попросил господина Шютё помогать в этих вопросах мачехе, у которой нет ни его опыта, ни его профессиональной сметки. Господин Шютё тут же повернулся к мачехе и торжественно заявил: «Это само собой разумеется, милостивая сударыня. Да мы и так постоянно будем с вами в контакте, по всяким там отчетам». Наверно, он имел в виду тот склад, который уже в общем-то принадлежал ему. Уж не знаю, сколько прошло времени; наконец он стал прощаться и, сделав грустное лицо, долго тряс отцу руку. И при этом многословно объяснял, что «в такой момент долгие речи вовсе даже не к месту», а потому лично он хочет сказать лишь одно слово, а именно: «До скорого свидания, хозяин». – «Надеюсь, так и будет, господин Шютё», – ответил ему, криво улыбнувшись, отец. Тут мачеха открыла свою сумочку, вытащила носовой платок и поднесла его к глазам. В горле у нее что-то забулькало. Стало тихо; ситуация была очень неловкой: у меня появилось такое чувство, что я тоже должен сейчас что-то сделать. Но все случилось как-то очень уж неожиданно, и ничего умного мне в голову не пришло. Я видел, господин Шютё тоже чувствует себя не в своей тарелке. «Ну что вы, милостивая сударыня, – сказал он, – не надо так. Честное слово, не надо». Казалось, он немного испуган. Он наклонился и быстро приложился губами к руке мачехи, чтобы произвести обычный свой поцелуй. И сразу, едва разогнувшись, устремился к двери; я еле успел отскочить в сторону. Со мной господин Шютё попрощаться забыл. Когда он вышел, мы некоторое время молчали, слушая его тяжелые шаги по деревянным ступенькам лестницы.

«Ну вот, одной заботой меньше», – первым нарушил тишину отец. На что мачеха, еще немного плаксивым голосом, спросила: может, надо было бы все-таки взять

у господина Шютё расписку? Но отец ответил, что такая бумажка никакой «практической ценности» не имеет: наоборот, хранить ее было бы даже рискованнее, чем саму шкатулку. И стал объяснять мачехе, что теперь нам нужно поставить все на одну карту, то есть полностью довериться господину Шютё, – хотя бы по той причине, что другого выхода у нас все равно нет. Мачеха замолчала, но потом возразила, что отец, конечно, прав, но ей все равно было бы как-то спокойнее, если бы «в руках у нее была такая расписка». Но объяснить более или менее убедительно почему, ей так и не удалось. Тогда отец напомнил, что пора заняться делами, которые еще ждут их, поскольку, как он выразился, время на месте не стоит. Он собирался передать мачехе всякую деловую документацию, чтобы та без него могла в ней разобраться и чтобы торговля, пока он будет в трудовых лагерях, не захирела. Тут он обратил внимание на меня – и задал мне несколько беглых вопросов: легко ли меня отпустили с уроков, еще что-то. Потом он сказал, чтобы я сел где-нибудь и вел себя тихо, пока они с мачехой будут разбираться с бухгалтерскими книгами.

Вот только продолжалось это долго. Какое-то время я, стараясь набраться терпения, заставлял себя думать об отце, вернее, о том, что завтра он уедет и я, скорее всего, долго его не увижу. Но потом я устал от этих мыслей и тогда, раз уж все равно помочь отцу ничем не мог, стал жутко скучать. Сидеть на месте мне тоже в конце концов надоело; чтобы хоть как-то скрасить унылое ожидание, я встал и попил воды из крана. Они ничего не сказали. Спустя какое-то время я опять поднялся и пошел за штабеля досок справить малую нужду. Вернувшись, ополоснул руки над ржавой раковиной, обложенной кафелем, вытащил из школьного ранца пакет с завтраком, съел бутерброды, снова попил из крана. Они опять ничего не сказали. Я сел на свое место – и еще долго, долго мучился от невыносимой скуки.

Был уже полдень, когда мы наконец вышли на улицу. У меня снова замелькали перед глазами цветные круги – теперь из-за яркого света. Отец долго возился с двумя висячими замками, тщательно запирая их; у меня было такое чувство, что он намеренно тянет время. Потом он отдал ключи мачехе, поскольку ему они больше ни к чему. Я слышал, он это сам сказал. Мачеха открыла сумку; я испугался, что она опять достанет платок; но она только ключи туда положила. Они заторопились прочь, я – за ними. Сначала я думал, мы идем домой, но оказалось, что за покупками. У мачехи был длинный список всяких вещей, которые понадобятся отцу в трудовом лагере. Часть из них она приготовила еще вчера, остальное надо было купить. Когда мы шли по улице, все трое – с желтой звездой, я чувствовал себя немного неловко. Будь я один, меня бы это лишь забавляло. С ними же вместе – я просто глаза не мог поднять.

Почему – трудно объяснить. Однако спустя какое-то время я об этом забыл. В лавках всюду было много народа – за исключением той, куда мы пришли за вещевым мешком: тут мы вообще оказались одни. Воздух в ней был густо пропитан острым запахом новой клеенки. Старик хозяин, тощий, желтый, но со сверкающими вставными зубами и с нарукавником на правом локте, и его толстуха жена держались с нами очень любезно. Они тут же вывалили на прилавок целую груду всякой всячины. Я заметил, что хозяин зовет жену «детка» и посылает ее то туда, то сюда. Лавку эту я вообще-то и раньше знал: она находится недалеко от нашего дома; но бывать в ней мне еще не доводилось. Это что-то вроде магазина спортивных товаров, хотя продают тут и много всего другого; в последнее время – даже желтую звезду собственного изготовления: желтая ткань сейчас – в большом дефиците. (О наших звездах мачеха позаботилась вовремя.) Если я правильно разобрался, они придумали обтягивать тканью картонную форму: так, конечно же, получается куда красивей, все шесть лучей выглядят ровными, одинаковыми, не торчат вкривь и вкось, как на иных домашних поделках. Еще я заметил, что у хозяев и у самих на груди красуется их собственная продукция. Можно было подумать, желтую звезду они носят только затем, чтобы сделать ей рекламу у покупателей.

Но тут как раз и хозяйка вернулась с товаром. Старик еще до этого у нас спросил: позволено ли ему будет поинтересоваться, не для трудовых ли лагерей мы делаем покупки? Мачеха ответила: да, для них. Хозяин удрученно покивал. И даже воздел к потолку свои морщинистые, в пигментных пятнах руки, а потом скорбно уронил их на прилавок. Тогда мачеха сказала, что нам нужен вещевой мешок, и спросила, найдется ли таковой в лавке. Старик поколебался, затем произнес: «Для вас – найдется». И обернулся к жене: «Детка, принеси-ка со склада вещмешок для господина». Мешок нам сразу понравился. Но хозяин послал жену еще за несколькими предметами, без которых, как он считал, отцу «там, где он будет, не обойтись». Он вообще говорил с нами очень тактично и сочувственно, по возможности избегая слов «трудовые лагеря». Вещи, которые он нам показывал, в самом деле сплошь были полезные и практичные: котелок с герметически закрывающейся крышкой, складной перочинный ножик с множеством всяких инструментов, полевая сумка, еще что-то в таком же роде, что, как он вскользь заметил, у него всегда спрашивают «в подобных обстоятельствах». Мачеха купила для отца перочинный нож. Мне он тоже понравился. Когда все, что нужно, было отобрано, хозяин скомандовал жене: «Посчитай!» Старуха с трудом втиснула в кресло перед кассовым аппаратом свое грузное мягкое тело в черном платье. Хозяин проводил нас до дверей. Там, прощаясь, он сказал: «Почту за честь снова увидеть вас», – а потом, доверительно наклонившись к отцу, добавил вполголоса: «Вы же меня

понимаете: чтобы вы и я были живы и здоровы».

Теперь наконец мы в самом деле направились домой. Живем мы в большом доходном доме, недалеко от площади, где проходит трамвайная линия. Мы уже поднялись на второй этаж, когда мачеха вспомнила: а хлеб-то забыли купить! Она достала карточки, и мне пришлось бежать в булочную. Перед входом была небольшая очередь. Отстояв ее, я попал сначала к белокурой, полногрудой жене булочника: она отстригла нужные квадратики, – и потом передвинулся к самому булочнику, нарезающему хлеб. На приветствие мое он не ответил: все в окрестностях знали, что евреев он терпеть не может. Потому он и хлеб мне швырнул, взвесив его кое-как; по-моему, там граммов на двадцать-тридцать было меньше, чем положено. Недаром говорили, что у него от пайков всегда остается много излишков. И я, заметив его злобный взгляд и быстрое движение, каким он сбросил с весов порцию хлеба, в тот момент как-то вдруг понял, что его нелюбовь к евреям справедлива и объяснима: ведь относись он к ним как к обычным людям, его, наверно, грызла бы совесть, что он их обвешивает. А тут он поступает в согласии со своими убеждениями, действия его управляются какой-никакой, а идеей, хотя действия эти – как я не без горечи подумал – могли бы быть и совсем другими, куда более для меня приятными.

Домой из булочной я почти бегом бежал: ужасно есть хотелось; и потому только на одну минутку остановился, встретив на лестнице Анна-Марию, которая как раз вприпрыжку спускалась по ступенькам. Она живет с нами на одном этаже, у Штейнеров, а с ними мы обычно встречаемся (в последнее время – каждый вечер) у Флейшманов. Раньше мы с соседями не очень-то замечали друг друга, но теперь оказалось, что все мы – товарищи по несчастью, так что сам Бог велел посидеть вечером, обменяться соображениями, слухами, обсудить, что будет дальше. Мы-то с Анна-Марией разговариваем и на всякие другие темы; так я узнал, что Штейнер, собственно, дядя ей: дело в том, что ее родители как раз разводятся, а поскольку насчет дочери договориться еще не смогли, то и решили: пусть пока здесь побудет, чтобы ни у того, ни у другого. До этого она жила в интернате, по той же самой причине, по какой, не так давно, был в интернате и я. Лет ей тоже примерно четырнадцать. У нее длинная стройная шея. Под желтой звездой начинает формироваться грудь. Сейчас ее тоже послали в булочную. Еще она спросила: не хочу ли я, где-нибудь ближе к вечеру, поиграть в карты вчетвером, с ней и еще с двумя девочками, они сестры и живут этажом выше. Анна-Мария с ними дружит, а я их разве что в лицо знаю: встречались на лестнице да в бомбоубежище. Младшей из сестер на вид лет одиннадцать-двенадцать. Старшая же, как сказала Анна-Мария, ее ровесница. Иногда, сидя в комнате у окна, что выходит во двор, я вижу, как она бежит по

галерее напротив, спешит домой или из дому. Пару раз мы сталкивались и в подъезде. Я подумал: за картами мы могли бы поближе с ней познакомиться: что до меня, я бы с удовольствием. Но тут я вспомнил про отца – и сказал Анна-Марии: сегодня ничего не выйдет, сегодня мы с отцом прощаемся, его в трудовые лагеря забирают. Тогда и она вспомнила: да, она дома тоже об этом слышала, дядя рассказывал. И сказала: «Ну тогда что ж, ладно». Мы немного помолчали. Потом она спросила: «А завтра?» Я сказал: «Давай лучше завтра». Но и тут сразу добавил: «Если получится».

Когда я пришел домой, отец и мачеха уже сидели за столом. Мачеха, доставая для меня приборы, спросила, не проголодался ли я. «Как волк», – ни о чем другом не думая, сказал я; потому что так оно и было на самом деле. Она поставила передо мной полную тарелку, себе же едва плеснула чего-то. Но не я, а отец это заметил – и спросил ее: что-нибудь случилось? Она ответила – мол, сейчас у нее желудок не способен никакую пищу воспринимать; тут я и обнаружил свой промах. Правда, отец ее поведение не одобрил. Он стал говорить, что сейчас, когда ей так нужны силы и выдержка, поддаваться настроению ни в коем случае нельзя. Мачеха не ответила, зато я услышал какие-то непонятные звуки, а когда поднял глаза, увидел, что она плачет. Мне опять стало не по себе; я опустил взгляд в тарелку, но все же уловил краем глаза какое-то движение: это отец взял ее за руку. Прошла минута; было совсем тихо; когда я осторожно посмотрел на них, они сидели, держась за руки и глядя друг на друга, как это делают, скажем, мужчины и женщины в фильмах. Мне такое никогда не нравилось, я и сейчас почувствовал себя неловко. Хотя, собственно, думаю, ничего тут особенного нет, вполне обычное дело. Только я все равно не люблю. Сам не знаю почему. В общем, когда они снова стали разговаривать, я с облегчением перевел дух. Они опять вспомнили господина Шютё, правда, ненадолго, только в связи со шкатулкой и со вторым нашим складом; отец еще раз успокоил мачеху: по крайней мере, эти две вещи «теперь, он уверен, находятся в хороших руках». Мачеха опять согласилась с ним, хотя вскользь снова вспомнила про «гарантии», в том смысле, что да, конечно, конечно, но ведь вся их уверенность ни на чем, кроме честного слова, не зиждется, и большой вопрос еще, достаточно ли честного слова в таких делах. Отец пожал плечами и ответил, что сейчас не только в коммерции, но и «в других областях жизни» никто ни о каких гарантиях не помышляет. Мачеха издала прерывистый вздох и тут же согласилась с отцом; она уже сожалеет, что затронула эту тему, – и попросила отца не говорить так и вообще ни о чем не думать. Но отец ее не послушался и стал вслух размышлять о том, как она, мачеха, будет справляться с заботами, которые теперь, в эти тяжелые времена, свалятся на нее, и как она разберется во всем этом одна, без него. Но мачеха ответила, дескать, почему же

одна: ведь рядом всегда буду я. Мы с Дюркой, продолжала она, будем помогать друг другу и заботиться друг о друге, пока отец не вернется и не будет опять с нами. Она даже повернулась ко мне и, чуть склонив голову к плечу, спросила: ведь так? Она улыбалась, но губы у нее дрожали. Я сказал: конечно. Отец тоже посмотрел на меня, взгляд у него был мягкий, растроганный. Меня это как-то сильно задело, и, чтобы сделать для отца что-нибудь, я взял и отодвинул свою тарелку. Отец, заметив это, спросил, что со мной. Я сказал: «Аппетита нет». Я видел, мои слова приятны ему; он даже погладил меня по голове. От этого прикосновения у меня тоже, впервые за сегодняшний день, что-то сдавило горло: нет, не слезы, а что-то вроде тошноты. Мне хотелось, чтобы отца уже не было тут. Это было очень скверное ощущение, но я чувствовал его так отчетливо, что ни о чем больше не мог думать, и совсем растерялся в эту минуту. Еще немного, и я готов был бы даже заплакать, но не успел: пришли гости.

Мачеха заранее нас предупредила, что они придут; будут только самые близкие, сказала она. А когда отец было недовольно нахмурился, поспешила добавить: «Но они только проститься с тобой хотят. Их же можно понять!» И вот в прихожей раздался звонок: пришли старшая мачехина сестра и мамаша. Вскоре прибыли отцовы родители: дедушка с бабушкой. Бабушку поскорее усадили на канапе: с ней вечно беда, она в своих очках с толстыми, как увеличительные стекла, линзами почти ничего не видит; примерно так же дело обстоит и со слухом. Но это не мешает ей деятельно участвовать во всем, что вокруг происходит. Так что хлопот с ней всегда по горло: во-первых, приходится постоянно орать ей в ухо, а во-вторых, прибегать ко всяческим ухищрениям, чтобы не дать ей вмешаться, иначе потом последствий не расхлебаешь.

Мачехина мамаша явилась в лихо заломленной шляпке конусом, с полями; спереди на шляпке торчало, склоненное набок, перо. Вскоре, однако, шляпку она сняла, и показались красивые, хотя и редковатые, белоснежные волосы, собранные на затылке в маленький, как орех, узелок. Лицо у нее узкое, желтоватое, глаза темные и большие, на шее под подбородком свисают две вялые складки кожи; она похожа на какую-то очень умную и очень породистую охотничью собаку. Голова у нее постоянно чуть заметно трясется. На ее долю выпала задача упаковать вещевой мешок отца: в таких делах она признанная мастерица. Она тут же принялась укладывать вещи, по списку, который дала ей мачеха.

А вот мачехиной сестре мы никакого применения найти не смогли. Она намного старше мачехи, и вообще словно бы совсем и не сестра ей: маленькая, толстенькая, личико – словно у удивленной куклы. Она беспрерывно что-то верещала, иногда принималась плакать и еще всех по очереди обнимала. В том числе и меня; мне еле удалось вырваться из ее мягких, пахнущих пудрой объятий. Когда наконец она села, вся масса рыхлой плоти легла на ее коротенькие ляжки. Да, и чтобы про отца не забыть сказать: он так и остался стоять возле канапе, где сидела бабушка, и терпеливо, с невозмутимым лицом выслушивал ее жалобы. Сначала она тоже плакала, жалея отца, но собственные несчастья постепенно заставили ее забыть про него. Она жаловалась, что у нее все время болит голова, что в ушах стоит пульсирующий шум – от давления. Дедушка, ко всему этому давно привыкший, помалкивал. Зато не отходил от бабушки ни на минуту, так и просидел рядом с ней до конца. За весь вечер я не услышал от него ни слова; но каждый раз, когда взгляд мой падал в ту сторону, я видел его все в том же углу, который, по мере того как надвигался вечер, погружался в темноту; вот уже света, рассеянного, желтоватого, хватало лишь на его голый, с большими залысинами лоб да на горбинку носа, глазницы же и нижняя часть лица тонули в густой тени. И только живой блеск глаз выдавал, что из своего угла, незаметный, он наблюдает за всем, что происходит в комнате.

Я уже думал, что никого больше не будет; но тут пришла еще двоюродная мачехина сестра с мужем. Я зову его дядя Вилли: это его имя. У него что-то не то с ногами, и один ботинок он носит с более толстой подошвой, чем другой; зато благодаря этому его не забирают в трудовые лагеря. Голова у него – в форме груши: сверху широкая, выпуклая и лысая, в щеках же – чем ниже к подбородку, тем уже. В семье к его мнению прислушиваются, потому что, до того как открыть букмекерскую контору, он занимался журналистикой. Вот и сейчас он пожелал сразу же поделиться интересными сведениями, которые узнал из «конфиденциального источника» и считал «абсолютно достоверными». Он уселся в кресло, увечную ногу вытянул вперед, ладони с сухим шорохом потер друг о друга и сообщил нам: «скоро в нашем положении ожидается коренной поворот», поскольку насчет нас начались «тайные переговоры», которые идут «между немцами и державами коалиции, при нейтральном посредничестве». Дело в том, что немцы, объяснил нам дядя Вилли, «теперь уже и сами видят, что положение их безнадежно на всех фронтах». И тут дядя Вилли высказал мнение, что мы, «евреи Будапешта», оказались немцам очень даже «кстати» в их стремлении «за наш счет выторговать у коалиции определенные выгоды для себя», а уж коалиция-то ради нас пойдет, конечно, на любые уступки; здесь он упомянул один, на его взгляд, «очень важный фактор», который известен ему

еще из журналистского опыта: этот фактор он назвал – «мировое общественное мнение», и сказал, что оно было «потрясено» тем, что у нас происходит. Торг, конечно, идет жесткий, продолжал дядя Вилли, и как раз в этом находит объяснение нынешняя суровость предпринятых против нас мер; но что делать, это естественное следствие «большой игры, в которой мы, собственно говоря, представляем собой всего-навсего средство невероятного по своим масштабам международного шантажа»; однако дядя Вилли пояснил, что он, прекрасно зная, что в это время «происходит за кулисами», рассматривает все это прежде всего «как эффектный блеф», ради того, чтобы повыше поднять цену, и потому просит нас лишь набраться терпения, пока «события приведут к какому-нибудь результату». Тогда отец спросил его, можно ли ожидать этого результата к завтрашнему дню и может ли он считать свою повестку тоже всего лишь блефом, и вообще, может быть, завтра ему вовсе и не стоит уезжать в трудовые лагеря. Тут дядя Вилли чуть-чуть смешался. И ответил: «Ну нет, конечно, так речь не стоит». Однако добавил, что совершенно уверен: отец мой скоро опять будет дома. «Двенадцатый час скоро пробьет», – сказал он, снова потирая руки. И еще добавил: «Будь я настолько уверен в какой-нибудь из своих ставок, я бы не был таким голодранцем!» Он хотел было еще что-то сказать, но тут мачеха и ее мамаша как раз закончили упаковывать вещевой мешок, и отец встал, чтобы примерить, как он сидит на спине.

Последним явился самый старший мачехин брат, дядя Лайош. Он в нашей семье играет какую-то весьма важную роль, хотя какую точно, я вряд ли смог бы определить. Он сразу пожелал побеседовать с отцом с глазу на глаз. Мне показалось, отец отнесся к этому без всякого восторга и, пускай в очень тактичной форме, постарался как можно скорее от него отвязаться. Тогда дядя Лайош неожиданно переключился на меня. Он сказал, что хотел бы со мной «немного потолковать». И, уведя меня в дальний угол комнаты, поставил там возле шкафа, а сам сел напротив. Начал он с того, что, как мне известно, завтра мой отец «покидает нас». Я сказал, что да, мне это известно. Тогда он захотел услышать, будет ли мне его не хватать. Вопрос немного раздражал меня, но я все же ответил: «Ну да, само собой». Это мне и самому показалось недостаточным, и я быстро добавил: «Очень». На что он долго кивал, и лицо у него было страдальческое.

Зато после этого я услышал от него кое-какие удивительные и интересные вещи. Он сказал, например, что нынешний печальный день подводит черту под тем периодом моей жизни, который он назвал «беззаботное, счастливое детство». «Уверен, – многозначительно посмотрел он на меня, – подобные мысли тебе еще и в голову не приходили». Я сознался: в самом деле не приходили. Но он опять

же выразил уверенность, что в словах его нет ничего такого, до чего я не мог бы дойти собственным умом. Я снова сказал: в самом деле вроде бы нет. Тогда он сообщил мне, что с отъездом отца мачеха останется без помощи и опоры, и хотя семья «не будет терять нас из виду», однако главной опорой с этого момента буду для нее я. «Ничего не поделаешь, – продолжал дядя Лайош, – тебе рано придется узнать, что такое заботы, что такое самоотречение». Потому что житье-бытье мое теперь будет, по всей вероятности, уже не таким безоблачным, как до сих пор, и он не хочет скрывать это от меня, поскольку говорит со мной «как со взрослым мужчиной». «Отныне, – сказал он, – ты тоже причастен к общей еврейской судьбе»; на этом он остановился подробнее, упомянув, что общая судьба эта подразумевает «непрестанные, тысячелетиями длящиеся гонения», которые, однако, евреям «надлежит принимать со смирением и бесконечным, жертвенным терпением», поскольку на испытания эти обрек их, за давние грехи, сам Господь, и потому, только уповая на Него, могут они надеяться и на милость Его; Он же ожидает от нас, чтобы и в этом тяжелом положении мы стойко вынесли все, что Он определил нам «по силам нашим и способностям». Скажем, мне, услышал я от него, должно в дальнейшем достойно показать себя в роли главы семьи. Тут он спросил: чувствую ли я в себе достаточно сил и готовности для этого? Хотя я не очень-то улавливал – особенно когда он говорил о евреях, об их грехах, об их Боге, – при чем тут, собственно, я, тем не менее слова его, не стану отрицать, как-то задели меня за живое. Так что я ответил: да, вроде чувствую. Он, как можно было судить по его лицу, остался моим ответом доволен. Вот и хорошо, сказал он. Он всегда считал, что я мальчик разумный и что в душе у меня «живут глубокие чувства и серьезное сознание ответственности», и это среди ударов судьбы в какой-то мере служит ему утешением, – так выходило из его слов. Тут он протянул ко мне руку и двумя пальцами, которые с наружной стороны покрыты были пучками волос, а с внутренней – легкой влагой, взял меня за подбородок, потом тихим, немного дрожащим голосом произнес: «Твой отец отправляется в дальний путь. Ты молился за него?» Была в его глазах некая суровая требовательность, и, может быть, именно взгляд этот пробудил во мне тягостное ощущение, что я что-то не сделал для отца. Самому мне это до сих пор и в голову не приходило, но теперь, когда он мне об этом сказал, я уже не мог избавиться от мучительных угрызений совести – и, чтобы освободиться от тяжкого груза, ответил: «Нет, не молился». – «Пойдем со мной», – сказал он.

Мы с ним вышли в другую комнату, окнами во двор. Здесь, в окружении старой, обшарпанной мебели, мы стали молиться. Прежде всего дядя Лайош поместил себе на макушку, на то место, где его седые, редеющие волосы вылезли, оставив маленький просвет, круглую черную, с шелковистым отливом шапочку. Мне тоже

пришлось принести из прихожей свою кепку. Тогда дядя Лайош достал из внутреннего кармана пиджака книжечку в черном переплете с красным обрезом, а из нагрудного кармашка – очки. И принялся читать вслух молитву, а я должен был повторять за ним кусочки текста. Сначала дело шло бойко, но скоро я стал уставать; мешало мне и то, что я ни словечка не понимал из тех фраз, с которыми мы обращались к Богу: ведь молиться Ему нужно было по-еврейски, я же еврейского языка не знаю. Чтобы как-то все-таки успевать за дядей Лайошем, я вынужден был следить за его губами, так что в конце концов все, что осталось во мне от этого странного эпизода, было лишь движение мясистых, влажных губ да лишенные всякого смысла слова чужого языка, которые я бормотал под нос. Ну и еще то, что я увидел в окно, через плечо дяди Лайоша: старшая из сестер, к которым меня приглашала Анна-Мария, как раз прошла по галерее напротив, этажом выше нашего, по направлению к их квартире. Кажется, тут я даже сбился немного и неправильно произнес текст. Но когда молитва закончилась, дядя Лайош выглядел удовлетворенным; на лице у него было такое выражение, что даже я на минутку почувствовал: ну вот, мы таки предприняли что-то ради отца. И в самом деле, мне стало легче, чем до молитвы, когда я не мог избавиться от того неприятного, тягостного ощущения.

Мы вернулись к гостям. На улице стемнело. Мы закрыли окна, плотно заклеенные бумагой воздушного затемнения, и тем отрезали себя от синего влажного весеннего вечера. В комнате словно бы стало гораздо теснее. Гул голосов утомлял меня. Глаза щипало от сигаретного дыма. Я уже не мог сдержать зевоту. Мачехина мамаша накрыла на стол. Ужин она принесла с собой в большой сумке. Она даже мясо достала на черном рынке, о чем сообщила, как только пришла. Отец сразу расплатился с ней, достав деньги из кожаного бумажника. Все сидели за столом, когда вдруг явились дядя Штейнер и дядя Флейшман. Они тоже хотели попрощаться с отцом. Дядя Штейнер, едва вошел, попросил всех «не обращать на них внимания». Он сказал: «Я – Штейнер. Сидите, сидите, пожалуйста». На ногах у него, как всегда, были драные шлепанцы, под расстегнутым жилетом круглился солидный живот, в зубах зажата была вечная дешевая вонючая сигара. На большой рыжей голове странно выглядела прическа с детским пробором. Дядя Флейшман – маленький, с ухоженной внешностью, с белоснежными волосами, с сероватой кожей на постоянно встревоженном лице, с круглыми, как совиные глаза, очками, – рядом со Штейнером был едва заметен. Он лишь молча кланялся, выглядывая у того из-под мышки, да ломал пальцы, словно оправдываясь – из-за Штейнера, как можно было подумать. Но вряд ли из-за него. Старики – неразлучные друзья, хотя беспрестанно спорят друг с другом: не существует такого вопроса, в котором они были бы одного мнения. Штейнер и Флейшман по очереди подошли

к отцу, пожали ему руку. Штейнер еще и по спине его похлопал, назвал «стариной» и, в который уже раз, повторил свою любимую шутку: «Так что – ниже голову, старина, и не будем терять отсутствия духа!» Еще он сказал – тут дядя Флейшман тоже энергично закивал, – что они по-прежнему будут заботиться обо мне и о «мадам» (так он называл мачеху). Потом, поморгав утонувшими в морщинах глазками, обнял отца и прижал к своему животу. Когда они ушли, все утонуло в звяканье столовых приборов, гуле голосов, запахе блюд и густом табачном дыму. Лишь иногда я более или менее четко видел чье-нибудь лицо, замечал какое-нибудь движение, которые почему-то проступали вдруг из окружающего тумана; чаще других мне в глаза бросалась желтая, костлявая, трясущаяся голова мачехиной мамаши, следившей, чтобы ни одна тарелка перед гостями не пустовала; потом взгляд мой остановился на дяде Лайоше: тот протестующим жестом воздел ладони, отказываясь от мяса, потому что это мясо свиньи, а религия запрещает употреблять в пищу свинину; еще мне запомнились пухлые щеки, жующие челюсти и слезящиеся глаза мачехиной сестры; потом в розовом круге света под люстрой появился вдруг голый череп дяди Вилли, и я уловил обрывки его оптимистических речей насчет обнадеживающих перспектив; и снова дядя Лайош, который в торжественной тишине произнес слова, прося помощи Господа, чтобы «все мы в самом скором времени снова сидели за семейным столом, пребывая в мире, любви и здоровье». Отец попадал в поле моего зрения редко и смутно; мачеха же в тот вечер запомнилась мне лишь потому, что о ней все подчеркнуто, нежно заботились, едва ли не больше, чем об отце, а потом у нее вдруг заболела голова, и гости наперебой стали предлагать ей таблетки и советовали положить на лоб влажное полотенце, но она и от того, и от другого отказалась. Однако время от времени сознанием моим завладевала бабушка: она все время путалась у кого-нибудь под ногами, и ее приходилось уводить обратно на канапе; я и сейчас слышу ее нескончаемые жалобы, вижу ее подслеповатые глаза, которые под толстыми, запотевшими линзами очков напоминали каких-то странных, влажных насекомых. Потом все разом вдруг поднялись из-за стола. Тут и началось настоящее прощание. Бабушка с дедушкой ушли отдельно, немного раньше, чем родня мачехи. И за весь этот вечер отчетливее всего запомнился мне, пожалуй, единственный дедушкин поступок, которым он обратил на себя всеобщее внимание: это случилось, когда он, уходя, маленькую свою птичью головку на короткое мгновение, но порывисто, почти отчаянно, прижал к пиджаку отца, к его груди. Сухопарое жилистое тело его содрогнулось, словно он с невероятным трудом подавил рыдание. И, оторвавшись от отца, он торопливо двинулся к выходу, ведя под локоть бабушку. Все расступились, давая им дорогу. Многие потом, уходя, обнимали и меня, и я еще долго чувствовал на лице клейкий след их поцелуев. Наконец стало тихо: все ушли.

Тогда попрощался с отцом и я. Или скорее, может быть, он со мной. Даже не знаю. Не совсем ясно помню, как это произошло. Должно быть, отец вышел проводить гостей, потому что я на пару минут остался возле стола с остатками ужина в одиночестве – и встрепенулся, только когда отец опять оказался в комнате. Он был один. И хотел проститься со мной. Завтра утром на это уже не будет времени, сказал он. И стал говорить мне об ответственности, о том, что мне придется до времени повзрослеть, – примерно то же самое, что я уже слышал сегодня от дяди Лайоша, только без упоминания Бога, не такими красивыми словами и гораздо короче. Вспомнил он и про мать, высказав предположение, что она, вероятно, попытается теперь «переманить меня из дома к себе». Я видел, мысль эта очень его беспокоит. Еще бы: они с матерью долго спорили, кому я должен принадлежать, пока наконец суд не решил дело в пользу отца; а теперь, и тут я вполне его понимал, он, должно быть, не хотел лишиться – только по той причине, что оказался в невыгодной ситуации, – прав на меня, с таким трудом завоеванных. Но в этот момент он взывал не к закону, а к моему здравому смыслу, подчеркивая разницу между мачехой, которая «создала теплую, уютную семейную обстановку», и матерью, которая, наоборот, меня «бросила». Тут я стал слушать внимательнее, потому что мать об этом рассказывала мне совсем по-другому: по ее мнению, виноват во всем отец. Потому она и вынуждена была найти себе другого мужа, некоего дядю Дини (на самом деле его звали Денеш), которого, кстати, на прошлой неделе тоже забрали, и тоже в трудовые лагеря. Как там было на самом деле, мне так никогда и не удалось узнать: отец быстро перевел разговор снова на мачеху, напомнив: ей я обязан тем, что меня забрали из интерната, а потому мое место «дома, рядом с ней». Он еще много о ней говорил, и я догадывался уже, почему она не участвует в разговоре: наверняка ей это неловко было бы слушать. Меня же беседа опять-таки стала несколько утомлять. Уж не помню, что я обещал отцу, когда он пожелал услышать от меня обещания. А в следующую минуту я вдруг очутился в его объятиях, что показалось мне, после его слов, неожиданным и даже немного странным. Не знаю, от этого ли у меня полились слезы или просто от того, что я ужасно устал, или, может, от того, что еще с первого, утреннего разговора с мачехой я как-то, сам того не сознавая, готовился к тому, что они обязательно должны хлынуть; как бы там ни было, все-таки хорошо, что так вышло: я чувствовал, отцу тоже приятно видеть, что я плачу. Потом он послал меня спать. Признаться, очень кстати: я еле держался на ногах. Перед тем как уснуть, я успел подумать: по крайней мере, бедняга уедет в трудовые лагеря с памятью о хорошо проведенном дне.

Минуло уже два месяца, как мы попрощались с отцом. Наступило лето. Но в гимназии нас давно, еще весной, распустили на каникулы. Сказали: из-за того, что война. Город часто бомбят, да и о евреях приняты новые законы. Вот уже две недели, как я должен нести трудовую повинность. Мне пришла официальная бумага с извещением, что я «получаю настоящим назначение на постоянное место работы». В бумаге ко мне обращались как к «Дёрдю Кёвешу, допризывнику, годному для несения службы на вспомогательных работах», из чего я сразу понял, что руку к этой истории приложили чины из «Левенте»[1 - В хортистской Венгрии – массовая молодежная организация, ведающая подготовкой к военной службе, а также занимающаяся идеологическим воспитанием подрастающего поколения. (Здесь и далее примеч. переводчика.)]. Да я и так слышал, что ребят-евреев моего возраста, которые еще не доросли до трудовых лагерей, нынче посылают работать на заводы или в другие такие же места. В одной компании со мной оказались еще человек восемнадцать, которым тоже где-то около пятнадцати лет. Место нашей работы находится в Чепеле[2 - Чепель – остров на Дунае южнее Будапешта (в настоящее время – один из административных районов венгерской столицы)], на предприятии какого-то акционерного общества, название которого – «Нефтеперегонный завод Шелл». Благодаря этому я, собственно, стал даже обладателем определенных привилегий, поскольку вообще-то с желтой звездой выезжать за границу города было запрещено. Мне, однако, выдали на руки специальное удостоверение, на котором красовалась печать оборонного предприятия и написано было: «С правом пересечения Чепельской таможенной границы».

Сама работа, честно говоря, не была уж такой невыносимо тяжелой, а если учесть хорошую компанию, так просто-таки приятной: мы состояли на подсобных работах при каменщиках. Дело в том, что завод сильно пострадал от авианалетов, и нашей задачей было участвовать в ликвидации нанесенного самолетами ущерба. Мастер относился к нам вполне нормально: в конце недели он даже отсчитывал, как и другим подмастерьям, какое-никакое жалованье. В 20–30-е годы XX в. на Чепеле находился международный порт со статусом свободной гавани, где расположены портовые сооружения и много промышленных предприятий; отсюда – таможня, о которой пойдет речь ниже. Мачеха, правда, больше всего была рада моему удостоверению. До сих пор, если я куда-нибудь отправлялся из дома, она каждый раз нервничала: что я предъявлю, если придется удостоверять свою личность. Теперь ей не о чем беспокоиться: ведь у меня при себе документ, который свидетельствует, что я

живу не для своего удовольствия, но занимаюсь полезным делом, работаю в оборонной промышленности, а это уже, естественно, требует совсем другого ко мне отношения. Такого же мнения была и вся наша семья. Только мачехина старшая сестра попричитала немного: ах, дескать, как же так, выходит, я должен выполнять тяжелую физическую работу? И едва ли не со слезами на глазах вопрошала: и ради этого я учился в гимназии? По-моему, отвечал я ей, для здоровья это только полезно. Дядя Вилли тут же меня поддержал, а дядя Лайош завернул и того круче: если Бог определит нам стезю, следует принимать ее не ропща; тут мачехина сестра замолчала. Дядя Лайош, правда, опять отозвал меня в сторону и серьезно побеседовал со мной, среди прочего напомнив, что, работая на заводе, я представляю не только себя самого, но и «все еврейское сообщество» и что мне еще и поэтому нужно следить за своим поведением, поскольку мнение будет составлено и о них всех. В самом деле, это мне в голову не приходило. Но ничего не попишешь, я опять же, конечно, не мог не признать, что он, наверное, прав.

Письма от отца, из трудовых лагерей, тоже приходили аккуратно: слава богу, он здоров, работу переносит хорошо, обращаются с ними – как он писал – по-человечески. Семья тоже была довольна содержанием его писем. Дядя Лайош высказал мнение, что Бог до сих пор был с отцом, и напомнил, как важно ежедневно обращаться к Нему с молитвой, чтобы Он и дальше заботился об отце, поскольку власть Его над всеми нами беспредельна. Дядя Вилли же заверил: нам нужно как-нибудь еще продержаться этот, и без того «краткий, переходный период», ибо – как он обстоятельно объяснил – высадка союзнических войск на севере Франции «окончательно решила судьбу немцев».

С мачехой мне тоже пока удавалось во всех вопросах находить общий язык. В отличие от меня, она теперь была вынуждена бездельничать; дело в том, что тут как раз вышло распоряжение: те, у кого кровь недостаточно чистая, не имеют права заниматься торговлей, так что лавку нам пришлось закрыть. Но, как видно, ставка, которую отец сделал на господина Шютё, оказалась удачной: бывший наш счетовод каждую неделю аккуратно приносит мачехе долю прибыли, которая причитается ей от находящегося у него склада, – так было договорено с отцом. Вот и в последний раз он был точен и отсчитал на стол, насколько я мог судить, довольно приличную сумму. После этого поцеловал мачехе руку; несколько дружелюбных слов нашлось у него и для меня. Подробно расспросил он – как обычно делал – и о самочувствии «хозяина». Он уже собирался уходить, когда ему еще что-то пришло в голову. Из своего портфеля он вынул какой-то сверток. Лицо его было немного смущенным. «Смею надеяться, милостивая сударыня, – произнес он, – это вам пригодится в

хозяйстве». В свертке оказался жир, сахар, еще что-то. Подозреваю, добыл он это на черном рынке: наверняка прослышал о распоряжении, по которому лицам еврейской национальности теперь предписано довольствоваться сокращенными продовольственными пайками. Мачеха пыталась было отказаться, но господин Шютё очень настаивал, и, в конце концов, не могла же она быть на него в претензии за этот знак внимания. Когда мы остались вдвоем, она и меня спросила: как я считаю, правильно она поступила, приняв подарок? Я ответил, что правильно: некрасиво, наверно, было бы обидеть господина Шютё отказом, он ведь, в конце концов, от чистого сердца так поступил. У нее было такое же мнение; она даже сказала, что, ей кажется, отец с ней согласился бы. А вообще, ей лучше знать, как поступать в таких случаях.

Два раза в неделю я, с приближением вечера, отправлялся навестить мать, как это было заведено до сих пор. С ней у меня забот больше. В самом деле, как отец и предсказывал, она никак не может смириться с тем, что мое место – в доме мачехи. Она говорит, что я «принадлежу» ей, родной матери. Но ведь, как известно, суд присудил меня отцу, так что тут и говорить не о чем: решение никто не отменял. Однако мать и в прошлое воскресенье меня опять допрашивала, с кем я хочу жить, потому что, она считает, тут имеет значение только мое желание, ну и еще то, люблю ли я ее. Я сказал: конечно люблю! Но мать объяснила: любить – это когда ты «к кому-то привязан», она же видит, что привязан я к мачехе. Я попробовал убедить ее, что она ошибается: ведь в конце концов не во мне совсем дело, а, как ей известно, такое решение принял отец. Но она на это ответила, что речь здесь идет обо мне, о моей жизни, а тут решение принимать должен я сам; и еще: люблю я кого-то или нет, «это доказывается не словами, а поступками». Уходил я от нее хмурый и озабоченный: само собой, не могу же я допустить, чтобы она в самом деле подумала, будто я ее не люблю; с другой стороны, точно так же не могу я принимать всерьез ее слова о том, что самое важное – это мое желание и что во всем, что касается моей жизни, решения принимать должен я сам. В конце концов, это ведь их спор, а если так, то мне даже как-то неловко становиться на чью-то сторону. И вообще, не могу же я предавать отца, причем сейчас, когда он находится в трудовых лагерях. И все-таки мне было очень не по себе, когда я садился в трамвай, чтобы ехать домой: ведь конечно же я к матери тоже привязан, и, само собой, меня мучила совесть, что я и сегодня ничего не смог для нее сделать.

Наверно, эти угрызения совести были одной из причин, почему я каждый раз не очень спешил уходить от нее. В конце концов она сама мне напоминала, мол, пора, время позднее; она имела в виду, что с желтой звездой показываться на

улице разрешено только до восьми вечера. Я, однако, ей объяснял, что теперь, когда у меня есть удостоверение с завода, не обязательно так уж точно выполнять все распоряжения до единого.

Правда, в трамвай я все-таки садился только на последнюю площадку последнего вагона, как предписывалось соответствующими распоряжениями. И домой приезжал как раз около восьми вечера; хотя в это время было еще совсем светло – как-никак начало лета, – некоторые окна уже были закрыты черными или синими маскировочными ставнями. Мачеха уже немного беспокоилась, но – скорее по привычке: в конце концов, у меня ведь было удостоверение. Вечера мы, как обычно, проводили у Флейшманов. Старики, Флейшман и Штейнер, по-прежнему спорили по любому поводу; но, узнав, что я начал работать, они одинаково этому обрадовались – главным образом, естественно, из-за удостоверения. Правда, порадовавшись, опять-таки нашли повод поссориться. Дело в том, что ни я, ни мачеха в Чепеле не бывали и, когда мне предстояло в первый раз туда ехать, решили спросить дорогу у стариков. Флейшман посоветовал ехать на электричке, Штейнер же настаивал на автобусе, потому что тот, как он утверждал, останавливается как раз у нефтеперегонного завода, а от электрички надо еще идти пешком; как вскоре выяснилось, он оказался прав. Но тогда мы об этом еще не знали, и дядя Флейшман очень был раздражен. «Почему вы всегда добиваетесь, чтобы ваше слово было последним?» – брюзжал он. В конце концов две толстухи жены вынуждены были вмешаться, чтобы их помирить. Мы с Анна-Марией долго над этим смеялись.

Кстати, с ней я попал в несколько необычную ситуацию. Случилось это позавчера, в ночь с пятницы на субботу, во время воздушного налета, в бомбоубежище; вернее, на одной из ведущих туда, но почти не используемых подвальных лестниц. Сначала я лишь хотел показать ей, что оттуда интереснее наблюдать, что делается снаружи. Но когда мы туда выбрались, где-то поблизости как раз ухнул разрыв, и Анна-Мария задрожала всем телом. Я это хорошо чувствовал, потому что в испуге она крепко ухватилась за меня: руками обвила мне шею, лицом уткнулась в плечо. Потом я помню лишь, что губами искал ее рот. Смутное ощущение теплого, влажного, немного клейкого прикосновения осталось во мне надолго. Ну и еще осталось некоторое веселое удивление: ведь как-никак это был первый случай, когда я целовался с девушкой, причем в такой момент, когда совершенно на это не рассчитывал.

А вчера, когда мы встретились на лестничной площадке, выяснилось, что Анна-Мария тоже была очень удивлена. «Это бомба во всем виновата», – задумчиво

сказала она. В сущности, она была права. Потом мы с ней снова целовались, и она меня научила, как сделать, чтобы поцелуй еще более запомнился: надо, чтобы язык при этом тоже играл определенную роль.

А нынче вечером мы с ней пошли в другую комнату, чтобы посмотреть рыбок в аквариуме у Флейшманов: рыбок мы с ней часто смотрели и до сих пор. В этот раз мы, конечно, пошли туда не только из-за этого. Языком мы тоже поработали. Но вскоре вернулись к взрослым: Анна-Мария опасалась, как бы дядя с тетей чего-нибудь не заподозрили. Потом мы с ней разговаривали о всяких пустяках, и я, между прочим, узнал кое-что интересное насчет того, что она думает обо мне. Она, например, сказала: раньше у нее и в мыслях не было, что «когда-нибудь я буду для нее гораздо больше», чем просто «хороший приятель». Когда мы с ней только познакомились, я был в ее глазах просто мальчишка, такой же, как все прочие. Позже, призналась она, что-то ее заставило присмотреться ко мне получше, и в ней проснулся ко мне даже некоторый интерес – возможно, как ей кажется, из-за того, что родители наши занимают схожее положение в обществе, и, слыша отдельные мои замечания, она сделала вывод, что о некоторых вещах мы думаем с ней одинаково; но это и все, о большем она тогда и не думала. Тут она вслух стала размышлять о том, как, однако, все в жизни странно, и заключила свои размышления словами: «Видно, так и должно было случиться». На лице у нее было какое-то необычное, почти строгое выражение; я не стал с ней спорить, хотя, кажется, скорее согласен был со сказанным ею вчера: во всем виновата бомба. Но конечно, полной уверенности у меня в этом не было; к тому же я видел ведь, что так ей нравится больше. Вскоре мы попрощались: завтра мне рано вставать на работу; когда я пожимал ей руку, она вонзила ногти мне в ладонь, причинив даже некоторую боль. Я понял: она мне на поминает о нашей тайне, и на лице у нее словно написано было: «Все в порядке».

Но на другой день она повела себя несколько странно. Вечером, после того как я вернулся с завода домой, помылся, сменил рубашку, обувь, влажной расческой привел в порядок волосы, – мы с ней пошли в гости к сестрам, что жили выше этажом: Анна-Мария уже представила меня им, как и планировала. Мать их приняла нас радушно (отец находился в трудовых лагерях). Квартира у них была довольно солидная, с балконом, коврами, двумя большими комнатами и одной поменьше, для девочек. Тут стояло пианино, было много кукол и прочих девчачьих вещей. Раньше мы играли в карты; но сегодня у старшей сестры не было настроения для таких занятий. Ей хотелось прежде поговорить с нами о том, что ее мучит, о вопросе, над которым в последнее время она постоянно ломает голову: речь, как оказалось, шла о желтой звезде. Собственно,

задуматься и осознать, что что-то очень сильно изменилось, заставили ее «взгляды, какими смотрят на нее люди»; да, она находит, что люди очень изменились по отношению к ней: по их глазам она чувствует, что они просто «ненавидят» ее. Вот и сегодня утром, когда мать послала ее за покупками, она это заметила. Но мне, например, кажется, она тут немного преувеличивает. Мой личный опыт, по крайней мере, не совсем совпадает с тем, что она говорит. Вот, например, и на нашем заводе среди каменщиков есть такие, о которых всем известно, что они евреев терпеть не могут, – и все-таки с нами, подростками, они подружились, без всяких преувеличений. В то же время, однако, это, конечно, взглядов их не меняет нисколько. Потом мне вспомнился еще пример с булочником, и я попробовал объяснить старшей из сестер, что на самом деле люди ненавидят не ее, в том смысле, что не ее лично – ведь в конце концов они просто не знают ее, не знают, плохая она или хорошая, – а, скорее всего, некое представление, некую идею, имя которой – «еврей». Тогда она заявила, что тоже как раз размышляла над этим, потому что, в сущности, не очень понимает, что это такое. Анна-Мария тут же, правда, сказала ей, что ведь каждому известно: еврей – это религия. Но старшую из сестер интересовало не это, а «смысл» идеи. «В конце концов, человек должен знать, за что его ненавидят», – широко раскрыв глаза, смотрела она на нас. И призналась: первое время она никак не могла понять, что же, собственно, происходит, но ей было очень больно чувствовать, что люди презирают ее «всего лишь за то, что она – еврейка»; тогда она впервые осознала: существует нечто, отделяющее ее от людей, она вроде как другого сорта». Она стала размышлять над этим, пыталась найти ответ в книгах, в разговорах – и пришла к выводу: вот за то, что она «другого сорта», ее и ненавидят. Она так и сказала: «Мы, евреи, не такие, как все другие», – и в этом вся суть, из-за этого люди и ненавидят евреев. Еще она говорила, какое это странное ощущение: жить, «понимая, что ты другой»; из-за этого она испытывает иногда даже гордость, но чаще – что-то вроде стыда. И ей хотелось бы знать, как мы живем с этим ощущением: гордимся или скорее стыдимся? Сестренка ее, да и Анна-Мария тоже, не знали, что ей ответить. Я и сам до сих пор не очень-то видел причин ни для гордости, ни для стыда. Человек вообще ведь не совсем волен в том, чтобы решать, другой он или нет: в конце концов, для этого и придумана, как я понимаю, желтая звезда. Я ей так и сказал. Но она упрямо стояла на своем: отличие-де мы «носим в себе». А по-моему, важнее все же то, что ты носишь снаружи. Мы долго спорили, не знаю даже почему: ведь если говорить честно, мне не очень-то было ясно, почему вопрос этот так важен. Но было в ее размышлениях что-то, вызывавшее у меня раздражение: по-моему, все куда проще, чем она думает. Ну а кроме того, в этом споре мне хотелось победить, естественно. Раз или два Анна-Мария вроде бы тоже пыталась что-то сказать, но ничего у нее не вышло: мы со старшей из

сестер так увлеклись, что на нее уже и внимания не обращали.

В конце концов я привел ей один пример. Иногда, если нечего делать, я ведь и сам задумываюсь над такими вещами: однажды мне и пришел в голову этот пример. А все благодаря одной книге, которую я недавно прочел. В общем, речь там идет об одном нищем мальчишке и о принце, и они, если не считать того, что один – принц, а другой – нищий, во всем остальном: лицом, телосложением – удивительно были друг на друга похожи; и как-то раз, просто из любопытства, они поменялись судьбами, и нищий в конце концов стал настоящим принцем, а принц – настоящим нищим. И я сказал старшей из сестер: пускай попробует представить себя в такой ситуации. Конечно, это не очень вероятно, но чего только, в конце концов, на свете не бывает. Скажем, когда она была совсем-совсем маленькой, ни говорить еще не умела, ни памяти у нее не было, с ней, предположим, приключилась – не важно как, но приключилась – такая же история: ее каким-то образом нечаянно подменили, и она оказалась ребенком в другой семье, причем в такой семье, чьи документы с точки зрения чистоты крови безупречны. Так вот: если это представить, то теперь та, другая девочка чувствовала бы себя другой и носила бы желтую звезду, конечно, а она, старшая из сестер, со своими бумагами о рождении и о родителях, чувствовала бы себя – и не только она бы чувствовала, но и другие люди, конечно, видели бы ее – точно такой, как остальные люди, и думать не думала бы ни о каком различии. Пример этот, как мне показалось, ее немножко даже ошеломил. Сначала она просто молчала, потом, медленно-медленно и так мягко, что я почти ощущал эту мягкость, губы ее приоткрылись, словно она собиралась что-то сказать. Но так ничего и не сказала; вместо этого произошло нечто другое, куда более странное: она вдруг расплакалась. Лицо она спрятала в сгибе локтя, лежащего на столе, а плечи ее мелко вздрагивали и подергивались. Я очень был удивлен, потому что на такое совсем не рассчитывал; к тому же зрелище это выбило меня из колеи. Вскочив, я наклонился над ней и, слегка касаясь ее волос, плеч и руки, стал умолять, чтобы она перестала плакать. Но она рыдала все горше, а потом срывающимся голосом, не отрывая лица от локтя, стала кричать что-то в том роде, что если наши собственные свойства тут никакого значения не имеют, то все это – какая-то дурацкая случайность, и что если бы она могла быть другой, не той, кем вынуждена быть, тогда «все это не имеет никакого смысла» и вообще это «невозможно вынести». Я растерялся: ведь, конечно, я был виноват во всем, но откуда же мне знать, что эта мысль для нее так важна. Я уже почти готов был сказать, мол, не обращай внимания, ведь вот для меня никакого значения не имеет, какая у тебя кровь, я вовсе не презираю тебя за это; но, слава богу, я удержался и ничего не сказал, почувствовав, что слова мои прозвучали бы немножко смешно. Только все-таки мне было жаль, что я не мог

высказаться, потому что в тот момент я действительно все это чувствовал в своей душе, совершенно независимо от собственного положения, а значит – как тут еще скажешь? – свободно. Хотя, конечно, в иной ситуации, может быть, и мнение у меня было бы иное. Не знаю. Зато знаю твердо, что проверить это – не в моих силах. И все же это как-то меня удручало. По какой причине, точно не скажу, но впервые со мной случилось такое: я чувствовал нечто, мне кажется, в самом деле напоминавшее стыд.

И, уже когда мы были на лестнице, я вдруг узнал, что, поддавшись подобным чувствам, я, кажется, сильно обидел Анна-Марию: дело в том, что я заметил: она как-то странно себя ведет. Когда я что-то сказал ей, она даже не ответила. Я было взял ее за руку, но она вырвалась и убежала, оставив меня на лестнице одного.

На следующий вечер я напрасно ждал, что она, как обычно, зайдет за мной. Потому и я не решился подняться к сестрам: ведь до сих пор мы всегда ходили туда с ней вместе, и они стали бы спрашивать, что с ней. И вообще, я сейчас лучше понимал то, о чем вчера говорила старшая из сестер.

Правда, у Флейшманов вечером Анна-Мария все-таки появилась. Но разговаривала со мной сначала очень сухо; лицо ее немного смягчилось лишь после того, как на вопрос, хорошо ли я провел у сестер время, я ответил, что не был там. Она поинтересовалась почему, на что я ответил чистую правду: не хотел идти без нее; ответ, как я видел, ей понравился. Спустя какое-то время она даже согласилась посмотреть со мной рыбок; оттуда мы вернулись совсем помирившись. Позже, когда вечер подходил к концу, Анна-Мария сделала еще одно, последнее замечание, касающееся всей этой истории. «Это была первая наша ссора», – сказала она.

3

На следующий день со мной произошел немного странный случай. Утром я встал вовремя и, как обычно, поехал на работу. День обещал быть жарким; автобус и сегодня был набит до отказа. Мы уже выехали из города, автобус гулко прогрохотал по короткому, лишенному всяких архитектурных украшений мосту, что ведет на остров Чепель; отсюда дорога довольно долго бежит по голой,

открытой местности: по сторонам ее тянулись поля, слева виднелось какое-то плоское строение, похожее на ангар, справа тут и там блестели стекла оранжерей… И тут вдруг автобус резко затормозил, затем снаружи донеслись обрывки каких-то команд, потом кондуктор и пассажиры передали мне распоряжение: если в автобусе есть евреи, они должны выйти. Ага, подумал я, наверняка документы проверяют, насчет разрешения на выезд из города.

И в самом деле, на дороге стоял полицейский. Я тут же молча протянул ему свое удостоверение. Но он сначала махнул шоферу: мол, поезжай дальше. Я уже было подумал, что он невнимательно прочитал мою бумагу, и приготовился объяснять ему, что я, как значится в удостоверении, работаю на оборонном предприятии и мне некогда тут болтаться без дела; но тут вдруг раздались голоса, и я увидел кучу ребят, вместе с которыми работал на нефтеперегонном заводе. Они вылезли из-за насыпи. Оказалось, полицейский снял их с предыдущих автобусов, и теперь они, глядя на мою растерянную физиономию, откровенно веселились: вот-де и ты прибыл. Даже полицейский ухмылялся, как человек, который, хоть он и посторонний, все же в какой-то степени тоже участвует в развлечении; я сразу понял, он против нас ничего не имеет – да ничего и не может иметь, естественно.

Я спросил у ребят, что все это значит; но они пока и сами ничего не знали.

Какое-то время полицейский занят был тем, что останавливал автобусы, следующие из города: выходил на дорогу и вскидывал вверх ладонь; нас, остальных, он в такие моменты каждый раз отсылал за насыпь. И каждый раз повторялась одна и та же сцена: вновь прибывшие сначала были сильно удивлены, а кончалось все смехом. Полицейский выглядел довольным. Так продолжалось примерно четверть часа. Было ясное летнее утро, солнце уже согрело землю на откосе насыпи: мы ощущали это, когда лежали на траве. Вдали, в голубоватой дымке, хорошо видны были пузатые резервуары нефтеперегонного завода. За ними дымили фабричные трубы, еще дальше, уже смутно, маячил островерхий купол какой-то церкви. Нашего брата все прибывало: ребята, по одному или группами, появлялись из идущих со стороны Будапешта автобусов. Прибыл Кожевник – подвижный, веснушчатый парень с черной щетиной на коротко стриженной голове, весельчак и заводила; Кожевником его прозвали за то, что он, в отличие от нас, гимназистов, учился – до того как его приписали к заводу – делать всякие нарядные изделия из кожи. Прибыл и Курилка: его почти никогда не увидишь без сигареты в зубах. Правда, многие другие парни тоже курили; чтобы не отставать от других, попробовал

сигарету и я; но я заметил, он занимается этим совсем по-другому, с какой-то, почти лихорадочной, жадностью. Глаза у него тоже были странные, с лихорадочным блеском. Держался он независимо, но был молчалив и необщителен; ребята его недолюбливали. Я, правда, все же спросил у него однажды, что за удовольствие он находит в поглощении такого количества табачного дыма. Он ответил коротко: «Дешевле, чем жратва». Я был слегка ошарашен: такая причина мне и в голову не могла прийти. Но еще сильнее удивил меня насмешливый, почти презрительный взгляд, которым он смерил меня, заметив мою растерянность; мне стало не по себе, и больше я его ни о чем не спрашивал. Но с этого момента мне стала понятнее та настороженность, с которой относились к Курилке остальные. С куда более искренней радостью встретили они другого члена нашей команды, которого все, кто был с ним дружен, звали почему-то Сутенером. Впрочем, мне эта кличка казалась удачной: темные, гладкие, блестящие волосы, большие серые глаза, притягательная и в то же время чуть хищная улыбка – он в самом деле казался этаким жиголо; позже я узнал, что прозвище это дали ему, собственно говоря, за то, что в прежней, домашней, жизни он вроде бы очень умел ладить с девушками. Один из автобусов доставил нам Рози: фамилия его, собственно, Розенберг, но все пользовались таким сокращенным вариантом. По какой-то причине его мнение считалось у нас авторитетным, и в вопросах, которые касались нас всех, мы, как правило, прислушивались к его советам; он обычно ходил и к мастеру, если у нас были какие-то просьбы. Я слышал, он учился в торговом училище и вот-вот его закончит. У него было умное, хотя слишком вытянутое лицо, волнистые, белокурые волосы и неподвижный взгляд водянисто-голубых глаз; он напоминал какие-то старинные картины в музеях, под которыми висят таблички «Инфант с гончей» или что-нибудь в этом роде. Приехал и Мошкович, низкорослый парнишка с неправильным, даже, я бы сказал, довольно некрасивым лицом и крупным тупым носом, на котором сидели очки с линзами, почти такими же толстыми, как у моей бабушки. И так далее, вся наша команда. Все были в растерянности, как и я, и считали, что странная эта история – наверняка недоразумение, которое скоро должно проясниться. Мы поговорили с Рози, он подошел к полицейскому и спросил: не будет ли у нас неприятностей, если мы опоздаем к началу работы, и когда, собственно, нас собираются отпустить? Полицейский ни капли не рассердился, услышав этот вопрос, и ответил, что дело вовсе не в нем, не в том, что он решит или не решит. Как выяснилось, он сам знает не намного больше нас. Сославшись на какие-то «дальнейшие распоряжения», которые должны поступить, он заявляет, что пока может только сказать: и ему, и нам следует проявить терпение. Таков был в общем его ответ. Все это звучало хотя и не слишком ясно, однако, в сущности – с этим все ребята были согласны, – не так уж страшно. И вообще, полицейскому мы в конце концов

так и так обязаны были подчиняться беспрекословно. Что мы и делали с легким сердцем, поскольку с нашими удостоверениями, на которых стояла печать оборонного предприятия, мы, само собой, не видели особых причин принимать полицейского уж очень всерьез. Он же, со своей стороны, убедился – как выяснилось из его слов, – что имеет дело с «людьми разумными», и надеется, что может и в дальнейшем рассчитывать на нашу «дисциплинированность»; у меня сложилось впечатление, что мы ему в общем понравились. Он тоже как человек располагал к себе: был он довольно невысокого звания, ни молод, ни стар, на загорелом лице выделялись очень светлые глаза. По некоторым его словам я сделал вывод, что вырос он, скорее всего, в деревне.

Было уже семь часов: на нефтеперегонном заводе сейчас начинается рабочий день. Автобусы перестали привозить новых ребят, и полицейский спросил, все ли мы здесь. Рози пересчитал нас и доложил: все в сборе. Тогда полицейский сказал, что, пожалуй, не стоит торчать здесь, на обочине дороги. Выглядел он озабоченным, и у меня возникло ощущение, что он, собственно, в самом деле, как и мы, не знает, что будет дальше. Он даже спросил: «Что же мне с вами делать-то?» Но тут мы, само собой, помочь ему не могли. Перешучиваясь, пересмеиваясь, мы окружили его, словно школьный класс на экскурсии, собравшийся вокруг своего учителя; он же стоял среди нас с задумчивым выражением, поглаживая подбородок. Наконец он предложил: давайте пойдем в помещение таможни. Мы двинулись вслед за ним вдоль шоссе – и вскоре оказались у стоящего на отшибе облезлого одноэтажного строения; «Таможня» – значилось на выгоревшей вывеске возле входа. Полицейский вынул связку ключей, выбрал из них один и открыл дверь. Мы вошли и оказались в просторном прохладном, хотя и бедно обставленном помещении: две скамейки да длинный стол, потертый и грязноватый. Полицейский открыл еще одну дверь, за которой была комната куда меньших размеров, что-то вроде служебного кабинета. Как я успел заметить в не сразу притворенную дверь, там был ковер, письменный стол, телефон на столе. Потом мы услышали, как полицейский куда-то звонит; разговор был недолгий, но слов мы не разобрали. Думаю, он торопил кого-то насчет «дальнейших распоряжений»; во всяком случае, выйдя (и старательно закрыв дверь на ключ), он сообщил: «Пока ничего. Так что придется ждать». И посоветовал нам располагаться поудобнее. Потом спросил, знаем ли мы какие-нибудь коллективные игры. Кто-то – помнится, это был Кожевник – предложил «жмурки». Правда, полицейскому это не очень понравилось; он даже сказал, что ожидал от «таких разумных мальчиков» чего-то большего. Какое-то время он провел с нами, разговаривал о том о сем, даже шутил; у меня было такое чувство, что он очень старается нас как-то развлечь, чтобы нам не пришло в голову заняться чем-нибудь не тем: он ведь еще на шоссе говорил, что мы

должны быть дисциплинированными; но, видно, в общении с подростками у него особого опыта не было. Так что скоро он бросил эти старания и ушел, сказав, что у него дела. Мы слышали, как он закрыл дверь снаружи на ключ.

О том, что было дальше, рассказывать труднее. Все выглядело так, что «дальнейших распоряжений» нам придется ждать долго. Но нам вроде и торопиться было особо некуда: в конце концов мы же не сами виноваты, что проводим время впустую. В чем в чем, а в одном мы все были согласны: куда приятнее прохлаждаться тут, бездельничая, чем потеть на работе. Нефтеперегонный завод – не то место, где можно посидеть в тенечке. Рози там, помнится, специально ходил к мастеру, чтобы нам разрешили снять рубашки. Это, правда, не очень согласуется с буквой закона: ведь если ты без рубашки, то как узнать, есть у тебя желтая звезда или нет? Но мастер все-таки, по доброте своей, дал разрешение. Только Мошкович с белой, как бумага, кожей скоро пожалел о рубашке: спина у него в два счета стала багрово-красной, и мы много смеялись, глядя, как он сдирает с себя длинные лоскуты.

Словом, мы с удобствами расположились на скамьях или прямо на полу таможни; чем мы занимались, я, честное слово, не мог бы точно сказать. Во всяком случае, болтовня шла несмолкаемая, с шутками, с анекдотами; появились сигареты, попозже – свертки с едой. Вспомнили про мастера: то-то, должно быть, удивлялся он нынче утром, когда нас не оказалось к началу работы. У кого-то нашлись гвозди для игры под названием «бык». Этой игре я научился уже тут, у ребят; заключается она в том, что кто-нибудь подбрасывает вверх один гвоздь, а остальные хватают гвозди из общей кучи: победит тот, кто наберет больше всех, пока подброшенный гвоздь не попадет снова в руки игрока. Побеждал каждый раз Сутенер с его длинными, проворными пальцами. Потом Рози научил нас одной песне, и мы спели ее много раз подряд. Интересна она тем, что текст можно петь на трех языках, хотя слова остаются одни и те же: если ты к слову добавляешь окончание – эс, то получается как бы по-немецки, если – ио, то – по-итальянски, а если – таки, то вроде по-японски. Конечно, все это – чистая чушь; но по крайней мере нам не было скучно.

Потом я стал наблюдать за взрослыми, которых доставил к нам все тот же полицейский. Значит, пока его не было с нами, он снова, как и утром, стоял на шоссе, останавливая идущие из Будапешта автобусы. Взрослых набралось человек семь-восемь, все мужчины. Но, как я заметил, они донимали полицейского куда больше, чем мы: требовали объяснений, возмущались, пытались втолковать, кто они такие, совали под нос свои документы, приставали

с вопросами. Они и на нас сначала насели: кто мы такие, как здесь очутились? Но в общем они держались кучкой, отдельно от нас. Мы уступили им пару скамеек, и они сидели на них, нахохлившись, или топтались рядом. Говорили они о разных вещах, я всего не помню. Но главное, к чему они возвращались снова и снова, это желание понять причину, по которой их задержали и заперли здесь; а еще они ломали голову над тем, какие последствия им грозят; но тут, насколько я мог разобрать, к единому мнению они так и не пришли: каждый настаивал на своем варианте. В общем и целом, как я заметил, это зависело от того, какой документ каждый из них имел в своем распоряжении; как я понял, у них у всех были какие-то бумаги, которые давали им право приехать на Чепель: одни оказались здесь по личным делам, другие – по службе или по работе, как, скажем, и наша команда.

Несколько необычных лиц я все же обнаружил и среди них. Например, я обратил внимание, что один из них не принимал участия в общем разговоре: с начала и до конца он сидел и читал какую-то книгу, которая, видимо, была у него с собой. Он был высок и худощав, одет в желтую штормовку; на небритом лице выделялся резко очерченный рот с двумя глубокими морщинами, идущими от углов губ, – морщины эти придавали его лицу неприятное, угрюмое выражение. Он выбрал себе место на самом краю одной из скамеек, возле окна, и сидел, полуотвернувшись от остальных, положив ногу на ногу, – наверно, поэтому я нашел его похожим на человека, который много ездит по железной дороге, в сидячих вагонах, и не любит тратить время на пустую болтовню с попутчиками, предпочитая со скучливым равнодушием ждать прибытия к цели назначения; во всяком случае, такие мысли он пробудил во мне.

Еще на одного человека – довольно немолодого уже, но с благородной, ухоженной внешностью, с серебряными висками и круглой лысиной на макушке, я обратил внимание сразу после того – дело шло уже хорошо к полудню, – как он появился; да и мудрено было не обратить на него внимания: очень уж энергично он выражал возмущение, когда полицейский приглашал его войти в дверь. Он сразу спросил, есть ли здесь телефон и «может ли он им воспользоваться»? Полицейский, однако, объяснил ему, что очень жаль, но аппарат здесь «предназначен исключительно для служебных целей»; тогда мужчина замолчал, только поморщился досадливо. Позже, уступив расспросам остальных, он, хотя и довольно скупо, сообщил, что, как и мы, прикреплен к какому-то чепельскому заводу: в качестве, как он сам выразился, «эксперта»; в подробности он не вдавался. Вообще же выглядел он довольно уверенным в себе, и, насколько я мог судить, представления его в общем и целом похожи были на наши, с той, правда, разницей, что факт задержания скорее оскорбил его, чем удивил. Я

заметил, что о полицейском он отзывался с пренебрежением, как о «пустом месте». Дескать, «действует он, подчиняясь каким-то общим указаниям» и при этом, по всей очевидности, «из чрезмерного старания явно перегибает палку». И еще он высказал уверенность, что «компетентные в таких вопросах люди», по всей очевидности, в конце концов вмешаются и наведут порядок, и произойдет это, он надеется, в самом скором времени. Потом его голоса как-то не стало слышно, и я про него забыл. Лишь во второй половине дня, с приближением вечера, он вновь ненадолго привлек к себе внимание; но к этому времени я уже слишком устал, чтобы наблюдать за ним; я заметил только, что он держался очень уж нервно: то садился, то вскакивал, то складывал руки на груди, то сплетал пальцы за спиной, то смотрел на часы.

И еще одного взрослого я запомнил: это был чудной человечек, с характерным еврейским носом, с большим вещевым мешком за плечами, одет он был в короткие штаны, так называемые гольфы, и башмаки какого-то великанского размера; даже желтая звезда на нем, казалось, была больше, чем обычно. И суетился он больше всех: к каждому подходил и подробно рассказывал, как ему «не повезло». Так что я в общих чертах запомнил, что с ним приключилось; тем более что история-то довольно простая, а повторял он ее много раз. Собрался он сюда, на Чепель, навестить «тяжелобольную» мамашу – так он каждый раз начинал свой рассказ. Для этого он даже выхлопотал специальное разрешение: вот оно, показывал он каждому бумагу с печатью. Разрешение было действительно только на сегодня, и то не на весь день, а до двух часов. Но что-то ему помешало отправиться рано утром, какое-то дело, которое он называл «безотлагательным» и которое связано было с его «ремеслом». Но в конторе, куда он пошел это дело улаживать, были люди, и очередь до него дошла не скоро. Он уже стал опасаться, что поездка к мамаше сорвется, – объяснял он очередному слушателю. Поэтому он чуть не ли бегом помчался на трамвай, чтобы поскорее добраться до конечной остановки автобуса. По дороге, прикинув, сколько времени займет дорога туда и обратно, он пришел было к выводу, что пускаться в такой путь довольно рискованно. Но когда он слез с трамвая, то увидел: двенадцатичасовой автобус еще стоит на остановке. И тут, толковал он слушателю, он подумал: «Сколько же я добивался этого разрешения, этого вот лоскутка бумаги!.. Да и мамочка, бедная, ждет», – добавлял он и тут же начинал рассказывать, что у него и у его жены забот с престарелой мамашей по горло. Они давно ее уговаривают перебраться к ним, в город. А она все откладывает да откладывает, вот и доотклaдывалась. Он сокрушенно качал головой: по его мнению, старая лишь домик свой хотела сохранить «во что бы то ни стало». «А разве это дом? В нем даже удобств нет никаких… Но, – продолжал он, – что тут поделаешь: мать же. Да и больна,

бедняжка, и пожилая уж очень». Тут он, сделав паузу, сообщал: упусти он этот случай повидать ее, «никогда бы, наверно, себе не простил». Короче говоря, он все-таки вскочил, в последний момент, на автобус. И здесь он опять замолкал на минуту-другую. Затем медленно поднимал и, с беспомощным видом, ронял руки, на лбу его собиралась тысяча мелких недоуменных морщинок, и он становился немного похожим на какого-то грустного, попавшего в западню грызуна. «Что вы думаете, – спрашивал он, вновь устремляя взгляд на собеседника, – у меня будут теперь из-за этого неприятности? Ведь они должны принять во внимание, что я нарушил указанный срок не по своей вине! И что теперь подумает мамочка, которую я известил, что приеду? Что подумает жена с двумя деточками, если меня в два часа все еще не будет дома?..» По тому, куда был направлен его взгляд, я понимал: мнения или ответа он ждет главным образом от описанного выше человека с благородной внешностью, назвавшегося «экспертом». Но тот, как я видел, не очень-то и слышал его: в пальцах у него была сигарета, которую он только что достал из серебристо поблескивающего портсигара, и кончиком сигареты он постукивал по рифленой крышке с выдавленными на ней буквами. Видно было, что он погружен в какие-то свои, невеселые, далекие мысли; история насчет поездки к престарелой мамаше его, по-видимому, мало волновала. Тогда человечек в «гольфах» снова принялся объяснять, как ему не повезло: ведь опоздай он всего на каких-нибудь пять минут, автобус уже уехал бы, следующего ждать не было никакого смысла; а значит – то есть при условии, что все, что случилось, случилось бы «всего-навсего с разницей в пять минут», – сейчас он «сидел бы не здесь, а дома», – снова и снова объяснял он окружающим.

Помню я еще одного взрослого, с лицом, похожим на тюленью морду: он был весь круглый, плотный, у него были густые черные усы и пенсне в золотой оправе, и он все время порывался «побеседовать» с полицейским. От внимания моего не укрылось, что сделать это он пытался по возможности в стороне от других, без свидетелей, где-нибудь в углу или у дверей. «Господин пристав, – слышал я время от времени его приглушенный, хрипловатый голос, – можно с вами поговорить?» Или: «Господин пристав, позвольте… Всего два слова, если не возражаете…» В конце концов полицейский сдался и спросил, что он желает. Тогда человек с тюленьим лицом вдруг заколебался. Пенсне его неуверенно блеснуло, он стал озираться вокруг. И хотя на сей раз они находились в углу, поблизости от которого сидел и я, в глухом его бормотании я не мог разобрать ни слова; кажется, он пытался в чем-то убедить полицейского. Потом на его лице мелькнула заискивающая, слащавая улыбка. Он пригнулся к полицейскому – сначала немного, потом все ближе и ближе. Одновременно я заметил какое-то странное движение, которое он сделал. Я не совсем понял, что это означает:

сначала, собственно, он вроде бы поднял руку, собираясь что-то достать из внутреннего кармана – возможно, какой-нибудь исключительно важный документ, который он не мог показать никому, кроме официального представителя власти. Но напрасно я ждал – что же появится из внутреннего кармана: движение его так и осталось незавершенным. Правда, и опустить руку он не хотел: что-то словно мешало ему, или он вдруг забыл, что хотел сделать, и рука замерла где-то на вершине проделанной траектории, не добравшись до цели. В конце концов пальцы его так и остались снаружи, ощупывая зачем-то ткань пиджака возле желтой звезды, бегая по груди вроде большого, покрытого редкой шерстью паука или, скорее, вроде какой-то морской твари, которая искала в одежде щель, чтобы спрятаться там от дневного света. Сам он в это время все говорил и говорил, и заискивающая улыбка все не сходила с его лица. Эпизод этот занял каких-то несколько секунд, не более. Потом я увидел лишь, как полицейский очень быстро и решительно – весьма решительно – положил конец разговору и, как мне показалось, даже немного рассердился за что-то на собеседника; в самом деле, хотя я не очень-то понимал, что там произошло, однако по какой-то трудно объяснимой причине поведение этого человека и мне показалось в некоторой степени подозрительным.

Другие лица, другие события я помню не очень хорошо. Да и вообще: по мере того как шло время, мое внимание и вместе с ним моя способность наблюдать за происходящим все более притуплялись. Могу, правда, сказать, что с нами, молодыми, полицейский и далее держался весьма дружелюбно. Со взрослыми же, как мне показалось, он был чуть менее доброжелателен. Но ближе к вечеру печать утомления лежала уже и на нем. Он все чаще сидел, с усталым видом, с нами или в своем кабинете, уже не обращая внимания на проходившие по шоссе автобусы. Я слышал, как он время от времени звонил по телефону; раз или два он и нам сообщал: «До сих пор ничего», – уже не пытаясь скрыть своего недовольства. Вспоминаю я и еще один момент. Это было где-то сразу после полудня: к нашему полицейскому приехал на велосипеде его приятель, другой полицейский. Он оставил свой велосипед у входа, прислонив его к стене, потом они ушли в кабинет нашего полицейского, плотно закрыв за собой дверь. Вышли они оттуда не скоро и, прощаясь, долго трясли руки друг другу. При этом они ничего не говорили, но смотрели друг на друга, кивая, примерно с таким выражением, с каким, бывало, в прежние времена в конторе моего отца пожимали друг другу руки торговцы, перед этим излившие коллеге душу, поплакавшиеся на тяжелые времена, на вялую торговлю. Конечно, я понимал, полицейских с торговцами сравнивать трудно; и все-таки, когда я смотрел на их лица, в памяти у меня невольно всплывала та, знакомая, несколько пессимистическая озабоченность, то знакомое, печальное смирение: эх, ничего

тут не поделаешь, все равно дела идут, как идут. Но я начал уставать; из дальнейшего мне запомнилось лишь, что было жарко, скучно и хотелось спать: я даже задремал ненадолго, кажется.

Вот так, в общем и целом, прошел день. Наконец, часа примерно в четыре, как наш полицейский и обещал, пришли долгожданные «дальнейшие распоряжения». Мы должны были отправиться в путь, чтобы где-то там предстать перед «начальством» с целью предъявления наших документов: так нас информировал полицейский. Ему же, должно быть, это сообщено было по телефону: перед этим мы слышали доносившиеся из его комнаты торопливые, свидетельствующие о каких-то изменениях звуки, нетерпеливые телефонные звонки, потом голос полицейского, который тоже кому-то звонил и вел с кем-то короткие деловые разговоры. Еще полицейский сказал нам – хотя его тоже не очень-то посвящали в подробности, – что речь, видимо, идет всего лишь о небольшой формальной проверке: да иначе и быть не может в таком простом и не вызывающем сомнения с точки зрения закона случае.

Нас построили по трое, и мы двинулись в путь – назад, по направлению к городу; колонны, подобные нашей, вышли из всех пограничных пунктов в окрестностях одновременно – в этом я мог убедиться, когда, перейдя мост, мы стали встречать другие группы, состоящие из людей с желтой звездой и сопровождаемые одним, двумя, а то и даже тремя полицейскими. В одном из конвоиров я узнал того полицейского, что приезжал к нам на велосипеде. Я заметил, что полицейские в таких случаях приветствовали друг друга с деловым выражением лица, обмениваясь одним-двумя словами или жестом, словно им заранее было известно об этой встрече, и тогда мне понятнее стало, зачем наш полицейский звонил туда-сюда перед отбытием: наверняка они согласовывали друг с другом маршрут, сроки и другие детали. В конце концов я обнаружил, что шагаю в середине длинной колонны, с двух сторон которой, на определенной дистанции друг от друга, идут полицейские.

Так мы шли – все время по шоссе, потом по проезжей части улиц – довольно долго. Стояло тихое, ясное летнее предвечерье, улицы, как всегда в этот час, были заполнены пестрой толпой; правда, все это я видел как бы немного в тумане. Скоро я перестал ориентироваться в местах, где мы проходили: улицы и площади вокруг были мне плохо знакомы. А затем многолюдье, нетерпеливые сигналы автомобилей, а главное, раздражающая толкотня, неудобства, которые неизбежны, когда сомкнутая колонна вынуждена продвигаться по тесным, запруженным улицам, – все это, вместе взятое, довольно основательно отвлекло,

притупило мое внимание. Так что в долгом этом походе больше всего мне запомнилось, собственно, то поспешное, немного растерянное, едва ли не стыдливое любопытство, с которым люди на тротуарах взирали на нашу колонну (любопытство это поначалу даже забавляло меня, но мало-помалу я и его перестал замечать); да, и было еще одно, довольно странное происшествие, которое случилось чуть позже. Мы шли по широкой и шумной улице, в самой гуще невыносимо шумного потока машин и людей; не знаю уж, каким образом, но в середине нашей колонны, как раз немного впереди меня, оказался трамвай. Нам пришлось замедлить шаг, напирая и наталкиваясь друг на друга, чтобы пропустить его, – и тут мне бросилось вдруг в глаза, как где-то передо мной, в облаках пыли и газа, в несмолкаемом гуле, стремительно метнулось в сторону желтое пятно; это был тот молчаливый человек, который целый день сидел и читал свою книгу. Один рывок – и он растворился в мешанине машин и людей. Я не поверил своим глазам: все это как-то не вязалось – такое у меня было ощущение – с его поведением в таможне. В то же время у меня появилось и другое чувство – некое веселое удивление, даже, может быть, восхищение, сказал бы я, простотой этого поступка: в самом деле, я вдруг увидел, что еще один или два человека из нашей колонны, там, впереди, следуя его примеру, бросились в сторону и исчезли в толпе. Я и сам огляделся – хотя, скорее, так сказать, из спортивного интереса: других причин, чтобы взять и сбежать, я не видел; думаю, и времени мне хватило бы; но я все же не сделал этого: честь была мне дороже. А тут и полицейские кинулись наводить порядок, и колонна вокруг меня сомкнулась.

Некоторое время мы еще шли вперед; потом все стало происходить быстро, неожиданно и немного ошеломляюще. Мы вдруг повернули, и я понял, что мы прибыли на место: колонна стала входить в какие-то широкие, настежь распахнутые ворота. Тут только я заметил, что сразу же за воротами полицейских по сторонам колонны заменили другие люди, в форме, похожей на армейскую, с пестрыми перьями на головных уборах[3 - Птичье (журавлиное) перо на головном уборе – принадлежность униформы венгерских жандармов.]: это были жандармы. Они вели нас по лабиринту серых строений все дальше и дальше, пока мы не оказались вдруг на огромной, усыпанной белым щебнем площади: больше всего это напоминало, как мне показалось, двор какой-то казармы. Тут я сразу обратил внимание на человека высокого роста и начальственного вида: он направлялся прямо к нам из строения, стоящего напротив. На нем были высокие сапоги и облегающая униформа с золотыми звездочками на погонах, с ремнем, пересекающим грудь по диагонали. В руке у него была тонкая, гибкая трость, какие используют при верховой езде, и он постоянно похлопывал ею по своему блестящему голенищу. Минутой позже,

когда мы замерли в неподвижности, я увидел, что он – человек в своем роде даже красивый, с крепким, спортивно сложенным телом, мужественными чертами лица и узенькой, по тогдашней моде, полоской черных усов, которые очень шли к его загорелой коже; он немного напоминал героев-любовников из кинофильмов. Когда он приблизился, жандармы скомандовали нам «смирно». Из того, что последовало за этим, в памяти у меня осталось лишь два быстро сменивших друг друга впечатления. Во-первых, у офицера со стеком оказался визгливый, пронзительный, немного как у ярмарочных зазывал, голос, который до того не вязался с его изысканной внешностью, что я от удивления мало что разобрал из сказанного им. Мне все-таки удалось уловить, что «расследование» – он употребил это выражение – «расследование» по нашему делу он намерен провести завтра; объявив это, он сразу же повернулся к жандармам и своим странным голосом, заполнившим весь плац, приказал отвести «всю эту еврейскую шваль» туда, где ей, собственно, и место, то есть в конюшню, и запереть там до утра. Второе мое впечатление – начавшийся после этого невообразимый гвалт: жандармы, внезапно войдя в раж, все разом и во всю глотку выкрикивали команды, чтобы куда-то направить нас. Эти вопли настолько сбивали с толку, что я какое-то время не мог сообразить, в какую сторону повернуться, и помню лишь, что мне вдруг стало немного смешно: во-первых, от удивления и от суматохи, от ощущения, что меня угораздило вляпаться в какую-то идиотскую комедию, в которой к тому же мне не совсем понятна собственная роль, а во-вторых, еще и от мысли, вдруг мелькнувшей у меня в голове: я подумал, какое нынче вечером будет лицо у мачехи, когда она убедится, что напрасно ждет меня к ужину.

4

Питья – вот чего больше всего не хватало в поезде. Еды, если даже учесть все случайности, должно было вроде хватить надолго; но вот запить еду было нечем, и это было ужасно неприятно. Соседи по вагону сразу сказали: первая жажда проходит быстро. В конце концов ты вообще о ней забываешь, а потом она вдруг появляется снова – и уже не позволяет думать ни о чем другом, объясняли знающие. Шесть-семь дней, утверждали они, даже в жаркую погоду, без воды можно кое-как протянуть – при условии, разумеется, что ты здоров, не слишком потеешь и не ешь много мяса и специй. Так что, успокаивали меня, время еще есть; и добавляли: все зависит от того, долгой ли будет дорога.

В самом деле, мне и самому было это интересно: на кирпичном заводе нам об этом ничего не сказали. Только объявили: кто хочет поехать на работу в Германию, пускай записывается. Мысль эта мне, как и остальным ребятам из нашей компании, да и многим другим на кирпичном заводе, сразу показалась привлекательной. И вообще – как говорили люди из так называемого Еврейского совета (их можно было узнать по специальной повязке на руке) – так или этак, добровольно или принудительно, всех, кого собрали тут, на кирпичном заводе, рано или поздно все равно вывезут в Германию, так что самым первым, тем, кто вызовется сам, добровольно, достанутся лучшие места, а также та привилегия, что поедут они всего по шестьдесят человек в вагоне, а тем, кто позже, придется размещаться, из-за нехватки поездов, не меньше чем по восемьдесят человек; когда нам все это объяснили, особо раздумывать и колебаться не было смысла, мне тоже так показалось.

Трудно было бы спорить и с другими доводами, которые относились к тесноте и скученности, царившим на кирпичном заводе, к последствиям этой тесноты, которые могут отразиться на нашем здоровье, ну и, конечно, к умножающимся трудностям с питанием: все это в самом деле имело место, и я сам это чувствовал на себе. Уже в тот день, когда нас доставили сюда из жандармерии (многим из взрослых о жандармерии этой были наслышаны, они называли ее «казармой имени Андрашши»), кирпичный завод был битком набит людьми. Тут были вперемешку и мужчины, и женщины, и дети всех возрастов, и бесчисленные старики обоего пола. Куда бы ты ни ступил, везде натыкался на одеяла, вещевые мешки, чемоданы разного размера и фасона, узлы, какое-то тряпье. Все это, а кроме того, множество мелких неудобств, неприятных и раздражающих мелочей, которые, видимо, неизбежно возникают, когда такое скопище людей вынуждено долго жить вместе, – скоро и мне, естественно, стали действовать на нервы. К этому добавлялось безделье, дурацкое состояние ожидания неизвестно чего, ну и, конечно, скука. Вот почему из пяти дней, которые я там провел, ни один не запомнился мне по отдельности; да и от вместе взятых в памяти у меня остались от них разве что какие-то детали. Во всяком случае, я хорошо помню, что мне было легче от того, что вокруг были все ребята из нашей компании: и Рози, и Сутенер, и Кожевник, и Курилка, и Мошкович, и остальные. Я убедился, что ни один из них не сбежал: все они тоже оказались честными. С жандармами на кирпичном заводе мне лично тоже не пришлось сталкиваться; я видел, что они в основном несут охрану с внешней стороны, иногда – вместе с полицейскими. О последних на кирпичном заводе говорили, что они понятливее жандармов, да и навстречу идут охотно, особенно если сумеешь договориться насчет компенсации в деньгах ли, в других ли ценностях. Главным образом они – так я слышал – соглашались выполнять

мелкие просьбы: отправляли письма, передавали какие-то сообщения родственникам; но некоторые из наших говорили, причем весьма убежденно, что в принципе с полицейскими можно – правда, добавляли говорившие, очень редко и с большим риском – найти общий язык и в смысле побега; правда, что-нибудь совершенно определенное мне об этом так и не удалось узнать. Но именно тогда мне вспомнился случай на таможне, и именно тогда я, кажется, точно понял, о чем так сильно хотел потолковать с полицейским тот человек с тюленьим лицом. И именно тогда я узнал, пускай задним числом, что наш полицейский оказался человеком честным. Этот факт нашел потом подтверждение: бродя по кирпичному заводу, околачиваясь во дворе или стоя в очереди к общественной кухне, в калейдоскопе чужих лиц я раз или два, кажется, видел знакомое тюленье лицо.

Из тех, кого я впервые встретил в таможне, видел я и невезучего бедолагу: он часто приходил посидеть с нами, с «молодежью», «немного отвести душу», как он сам выражался. Должно быть, пристанище он нашел себе где-то недалеко от нас, на заводском дворе, в одном из многочисленных, одинаковых – с драночной крышей, но со всех сторон открытых – навесов, которые, как я слышал, служили когда-то для сушки кирпича. Вид у Невезучего был довольно жалкий, на лице виднелись синяки и ссадины; он объяснил нам, что это – результат «расследования», проведенного жандармами: в его вещмешке они обнаружили лекарства и съестное. Тщетно он доказывал, что и лекарства, и продукты – из домашних запасов и нес он их тяжелобольной мамочке: его обвинили в том, что он спекулирует на черном рынке. Никого не интересовало, что у него имелось разрешение на поездку на Чепель, что он всегда чтил закон и в жизни не нарушал ни единой буквы его, как он сам говорил. «Ну как, ничего не слышали? Что с нами будет?» – спрашивал он, остановив кого-нибудь и глядя тревожно ему в лицо. И опять заводил разговор о мамочке, о семье и о том, как ему не повезло. Сколько же он хлопотал об этом разрешении и как радовался, когда его добыл, – вспоминал он, сокрушенно качая головой; разве мог он предположить, что у истории этой будет «такой конец». И все поминал те злосчастные пять минут. Если бы не его невезенье… Если бы автобус ушел в тот момент… – снова и снова горестно вздыхал он. Что же касается того, как с ним обошлись жандармы, тут он в общем-то казался скорее довольным. «Я ведь к ним почти самым последним попал, и, может, в этом было мое счастье, – говорил он. – Они уже торопились». Короче, «могло бы быть хуже», – подводил он итог своему рассказу, добавляя, что в жандармерии «видел случаи и похуже», и это была чистая правда. Я и сам вспоминал подобное. Утром, начиная «расследование», жандармы предупредили нас: пусть никто не надеется, что сумеет утаить свои прегрешения, а также деньги, золото и прочие ценности. Когда подошла моя очередь, мне тоже

пришлось выложить на стол перед ними деньги, часы, перочинный нож и все прочее. Ко мне подошел рослый жандарм и быстрыми, даже, я бы сказал, профессиональными движениями ощупал меня от подмышек до коротких штанов. За столом я увидел и старшего лейтенанта: к тому времени из разговоров жандармов между собой выяснилось, что офицера со стеком зовут Сакал и что он – старший лейтенант. А по левую руку от него – я сразу обратил на него внимание – громоздился, словно гора, жандарм с сомовьими усами, без кителя, отчего еще сильнее бросались в глаза его мощные, как у мясника, мускулы; в руке он держал какое-то орудие в виде вытянутого цилиндра, в общем-то довольно смешное, потому что оно напоминало скалку, какими пользуются кухарки. Старший лейтенант держался вполне дружелюбно: он спросил, есть ли у меня документы, хотя после этого я не заметил ни малейшего знака, ни малейшего намека на то, что бумага моя с печатью произвела на него хоть какое-то впечатление. Я удивился; однако (главным образом потому, что заметил движение руки жандарма с сомовьими усами, движение, в котором был и приказ убираться, пока цел, и очень даже внятный намек на то, что будет, если я не потороплюсь подчиниться) счел, что лучше, само собой, не высказывать своего несогласия.

Затем жандармы вывели нас всех из казармы и сначала, как сельдей в бочку, набили в специальный трамвай из нескольких вагонов, потом, привезя к Дунаю, посадили на судно, а когда мы через некоторое время высадились, повели куда-то пешком; так, собственно, я и оказался на кирпичном заводе; точнее (об этом я услышал уже на месте): на кирпичном заводе в Будакаласе.

В тот день, когда мы записались на работу в Германию, я узнал еще много всего о предстоящей поездке. Люди с повязками Еврейского совета – там их тоже было много – охотно отвечали на любые наши вопросы. В первую очередь в Германию требовались мужчины помоложе, предприимчивые, одинокие. Но тех, кто интересовался, они, я сам слышал, успокаивали: мол, не волнуйтесь, там найдется место и женщинам, и малышам, и пожилым; к тому же отправляющиеся в путь могут взять с собой все свои пожитки. Самый главный вопрос, по их мнению, был не в этом; главное – удастся ли нам все уладить между собой, по-человечески, по взаимному согласию, или мы будем дожидаться, пока жандармы сами за нас решат? Дело в том, что, как нам объяснили, нужное количество людей для отправки, так или этак, должно быть набрано, а если количество это не наберется, жандармы проведут отбор, как они сами понимают; короче говоря, большинство наших, и я в том числе, находили, что первый вариант, само собой, нам все-таки больше подходит.

Самые разные мнения слышал я и относительно немцев. Многие – причем в основном это были люди немолодые, имевшие за плечами кое-какой жизненный опыт – говорили, что немцы, как бы там они ни относились к евреям, все же, в общем и целом, люди чистоплотные, честные, работящие, любящие порядок и точность и что, встречая эти качества у других, они и других способны уважать; действительно, примерно такие же представления были до сих пор о немцах и у меня; кроме того, я надеялся, что, когда мы туда попадем, мне наверняка пригодится то, что в гимназии я, пускай недолго, учил немецкий язык. Однако больше всего меня радовала сама возможность работать; благодаря этому, как я надеялся, моя жизнь наконец обретет размеренность и упорядоченность, я буду занят полезным делом, у меня появятся новые впечатления, а иногда, конечно, и поводы пошутить, посмеяться; одним словом, я буду вести более разумный, чем до сих пор, и более отвечающий моим вкусам образ жизни, что нам и обещали и о чем мы с ребятами, само собой, много говорили; наряду со всем этим у меня мелькала мысль, что, если все пойдет как надо, то я и мир смогу немножко увидеть. А когда я вспоминал некоторые события последних дней: общение с жандармами, особенно их отношение к моему удостоверению, и вообще все, что со мной происходило, – то, честно говоря, даже любовь к родине не очень-то меня удерживала, если уж говорить и об этом чувстве.

Встречались, однако, у нас и люди недоверчивые, у которых были какие-то совсем другие сведения, в том числе и насчет характера немцев; кое-кто к ним подходил: дескать, ладно, раз вы такие умные, посоветуйте тогда, что нам-то делать; третьи, не желая зря тратить время на ссоры и препирательства, выступали за то, чтобы прислушаться к голосу разума, подавая пример другим и достойно показывая себя перед властью; люди вокруг меня, во дворе, сбивались в кучки, которые то распадались, то снова собирались, и без устали обсуждали доводы, возражения, обменивались новостями, слухами и догадками. Кто-то, я слышал, поминал Бога и «неисповедимую волю Его». Как дядя Лайош, человек этот тоже говорил о судьбе, об уделе евреев и, как дядя Лайош, тоже считал, что мы «отступили от Бога», в чем и кроется причина обрушившихся на нас испытаний. Человек этот все же немного заинтересовал меня, поскольку был напорист в словах и энергичен в движениях; даже лицо у него было несколько необычным: тонкий, большой, горбатый нос, очень яркие, с влажным блеском глаза, красивые, с проседью усы и сросшаяся с ними густая, но короткая бородка. Я видел, что его всегда окружает народ, с любопытством внимая его словам. Потом я узнал, что он – лицо духовное: многие называли его «господин рабби». Запомнил я из того, что он говорил, и некоторые необычные слова и выражения; например, он допускал – «ибо глаза, которые видят, и сердце, которое чувствует», дают нам право на это допущение, – что «мы, здесь, на

земле, пожалуй, можем оспаривать меру вынесенного нам высшего приговора»; правда, тут он словно бы ненадолго запнулся, голос, чистый и звучный, на минуту словно бы утратил свою всегдашнюю уверенность, а глаза затуманились чуть больше, чем обычно; не знаю почему, но у меня появилось странное ощущение, будто он собирался сказать что-то другое, так что эти слова некоторым образом удивили и его самого. Но он все-таки продолжил свою мысль: по его собственному признанию, он «не хотел бы усыплять себя чем бы то ни было». Он хорошо понимает – для этого достаточно лишь оглядеться вокруг себя, «в этом скорбном месте, и увидеть эти измученные лица» (так он выразился, и сострадание в его голосе мне тоже было удивительно слышать: в конце концов, он ведь тоже находился «в этом скорбном месте»), – да, он хорошо понимает, как тяжела его задача. Но он не считает своей целью «приводить души к Богу Вечному», да для этого и необходимости нет, ибо души наши и так от Него, сказал он. При всем том он призвал нас: «Не ропщите против Господа», – и вовсе не только из-за того, что это грех, но и потому, что путь этот, путь несогласия с Ним, привел бы «к отрицанию высокого смысла жизни», а он убежден, что «с отрицанием в сердце» человек жить не может. Может быть, сердце такое и кажется легким, но потому лишь, что оно – пусто, бесплодно, как бесплодна пустыня, сказал он; да, очень трудно, живя в несчастьях, в страданиях, видеть бесконечную мудрость Бога Вечного, но это все же единственный путь утешения, ибо – буквально так он сказал – «наступит миг торжества Его, и едины станут в страданиях, и из праха воззовут к Нему те, кто забыл о могуществе Его». Так что, уже сейчас говоря, что мы должны верить в наступление окончательной милости Его («и да будет вера сия опорой нам и неиссякаемым источником сил наших в этот час, час испытаний»), он тем самым обозначал единственный способ того, как нам следует жить. Этот способ он называл «отрицанием отрицания», ибо без надежды «мы погибнем», надежду же можно почерпнуть только из веры и из той неколебимой уверенности, что Господь сжалится над нами и мы обретем милость Его. Логика рассуждений этого человека была довольно ясной, я не мог этого не признать, хотя все же заметил: в конечном счете он так и не сказал, что, собственно, нам следует делать; не очень-то он был способен дать хороший совет и тем, кто хотел узнать его мнение относительно данной ситуации: записываться ли на отъезд в Германию или лучше остаться и выжидать? Видел я во дворе и Невезучего, причем неоднократно: он подходил то к одной группе, то к другой. Я обратил внимание, что беспокойный взгляд его маленьких, все еще с непрошедшими синяками, глаз, где бы он ни находился, постоянно мечется по сторонам, косясь на другие группы и других людей. Раза два я слышал и его голос: остановив кого-нибудь, он, с напряженным ожиданием на лице, ломая руки, почти умоляюще допытывался: «Извините, а вы-то сами едете?»; потом: «А почему?»;

потом: «Вы думаете, так лучше?»

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

В хортистской Венгрии – массовая молодежная организация, ведающая подготовкой к военной службе, а также занимающаяся идеологическим воспитанием подрастающего поколения. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

2

Чепель – остров на Дунае южнее Будапешта (в настоящее время – один из административных районов венгерской столицы)

3

Птичье (журавлиное) перо на головном уборе – принадлежность униформы венгерских жандармов.

Купить: https://tellnovel.com/kertes_imre/bez-sud-by

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити